

.5

Logo

Solo

ФОТО

СОЛО

**ПРОЗА
ПОЭЗИЯ
ЭССЕ**

МОСКВА 1991

Редакционная коллегия:

**Андрей БИТОВ
Владимир ЗУЕВ
Александр МИХАЙЛОВ
Евгений ПОПОВ**

В НОМЕРЕ :

НОВЫЕ ТЕКСТЫ

Иван МАКАРОВ. Проза:

День Рождения	4
Жалобная Книга	9
Письма пионеров и школьников председателю Мао	12
Стихи	19

Сергей ВОРОПАЕВ. Проза:

Фальстарт	24
Ожидание	37

Валерий КРУПНИК. Проза:

"Би-боп-алу-ла"	46
Твердоклювая птица гриф	58

Евгения ПЕРЕПЕЛКА. "КРУГ". Поэма	70
--	----

Владимир АБРОСИМОВ. Проза:

Зера Павловна	72
Когда-нибудь в среду	79

МОНОЛОГИ

Игорь КЛЕХ

Кое-что об историях	86
История Марка Чапмена, или о келлеровских траекториях книг	86
Отрывок из письма другу	88
Кое-что об антиподах	90
Кое-что об островитянах	92
Казнь четы Чаушеску	93

Иван МАКАРОВ

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Безвоздушное пространство называлось "вакуум" и помещалось в емкости, рассчитанной на избыточное давление в сто килограммов.

Сосуд с безвоздушным пространством стоял в специальной комнате. Доступ к пространству имели немногие: инженеры Иванов и Сергеев, техник Люда и начальник Иван Игнатович. Все они, кто чаще, кто реже, приходили сюда и внимательно следили за редкими и тем более дорогими проявлениями жизни пустоты.

Эта остаточная жизнь была, собственно, следствием неокончателности пустоты, неполной глубины вакуума. Все до последней частицы выкачать не удалось, они время от времени ударяли в стенки сосуда, что фиксировалось приборами. Кроме того, от стенок, ограждающих пустоту, отрывались и уходили в нее новые частицы.

Секретарша Екатерина Николаевна, Катя, в комнату к пустоте не ходила, интереса к ней не проявляла, даже приборы один от другого отличить не могла, но была дружна с теми, кто изучал пустоту.

В мае была вечеринка, на которой все они, включая Ивана Игнатовича, дружно и весело пели, танцевали и пили, а потом до полуночи гуляли, провожая дам по пустынным улицам.

Вечеринка была понята всеми как старт в светлое будущее, но вместо этого пошли дожди, настроение снизилось, пусть в отчаяние никто и не впадал.

Сергеев и Иванов по вечерам выпивали, Иван Игнатович думал о чем-то своем. Люда гадала на ромашках - удастся ли ей поступить в технологический институт на заочное отделение.

Дожди не прекращались. Иван Игнатович становился с каждым днем все более мрачным и раздражительным.

В этот день пустота вела себя плохо: агрессивно и дерзко. Частицы колотили по стенкам сосуда бессмысленно и аритмично.

Техник Люда следила за показаниями приборов и не понимала, что происходит. Пришли Иванов и Сергеев.

- На волю просится?

- Ну, что у тебя? Скажи! - Люда спросила пустоту.

Вакуум не отзывался.

Иванов и Сергеев, расписавшись в "Книге убытия по служебным делам", вскоре уехали на институтском фургоне с надписью "Дефектовочная" на борту.

Секретарша Екатерина Николаевна, Катя, печатала письмо и сделала ошибку.

Длинное, нескладное письмо, все в придаточных предложениях, было уже почти готово, когда вдруг вместо: "А в случае неисправления Вами положения в сроки..." - на бумаге оказалось: "А в случае неисправления Вами дня рождения..."

Суетясь и волнуясь, как застигнутая врасплох, Катя принялась вынимать и комкать испорченный лист.

Иван Игнатович вышел из кабинета:

- Где же письмо?

На столе был только листок с его каракулями.

Катя, смутившись, как школьница, выдохнула:

- Сейчас...

Переписав дурацкое письмо, Катя открыла сумку. Все было на месте: бутылка коньяка для Иванова, Сергеева и Ивана Игнатовича, конфеты для техника Люды.

Катя ждала, но никто не приходил ее поздравить, и это было обидно. Много ли надо? Подошел бы кто-нибудь и сказал: "Поздравляю!"

Иван Игнатович встретил в коридоре уборщицу.

- Знаете, последний цветочек засох. Поливать надо. И пыль на окнах. И вообще, честное слово, грязно у нас! Нельзя ли хоть раз в два дня убирать по-человечески?

Когда он повернулся, чтобы уйти, уборщица весело подмигнула Екатерине Николаевне и показала язык. Екатерина Николаевна отвернулась.

Иван Игнатович разговаривал за дверью по телефону. Грубо и громко. Катя думала о себе.

Утром, дома, умываясь, она долго смотрела на себя в зеркало: бледное, невыразительное лицо. Узкие плечи. Маленькая грудь с большими темными сосками...

Екатерина Николаевна, Катя, всегда считалась красивой, даже изысканной, гордой и неприступной. Она хотела быть самостоятельной и самой все за себя решать.

Кате вспоминался ее первый после окончания школы выезд за город. Ей было плохо тогда, казалось - ее никто не понимает.

Остановились у реки. Решили купаться. Вода была холодной, дно - сплошной ил. Катя все же проплыла немного. Вылезла на траву.

Переодеваться в кусты она пошла с Дашей. Ей было ужасно неловко, все казалось, кто-то подсматривает. На Дашу-то еще можно было посмотреть: вполне взрослая, большая, светлая, стройная, она спокойно и уверенно выжимала на траву купальник.

Маленькая, худая Катя казалась себе рядом с ней еще меньше и хуже - страшный, смущенный зверек.

Развели огонь, немного выпили. Катя не знала, что на нее нашло, она стала плакать. Билась в истерике. Ребята успокаивали ее, она отвечала грубостями.

Так же неожиданно она успокоилась. Она вдруг почувствовала, что эти люди, сидящие с ней у костра, дороже всех на свете. Улыбаясь им сквозь слезы, она положила правую руку на плечо Даше, а левую - на плечо Сергея. Был у них в компании такой парень - спокойный, веселый, условно освобожденный.

- Екатерина Николаевна! - Иван Игнатович попросил срочно соединить его по телефону с каким-то Захаровым. Катя правильно набирала номер, но дозвониться не могла.

- Иван Игнатович, все время занято, или никто не отвечает... Иван Игнатович пробормотал:

- Разумеется...

Катя слышала, как он сам набрал номер, и - сразу соединили.

Она стала думать о возвращении домой.

Вчера Катя вернулась в девять. Мать ее не дождалась и сидела за столом одна. Вокруг стояли вазы без цветов. Их было много - семь или восемь.

Мать была учительницей в начальных классах. Вазы дарили родители учеников. Почему-то каждый ее "четвертый", потом цикл сократился - вазы дарил каждый "третий" класс.

Другие учителя намекали, что вазы у них уже есть, можно бы выбрать еще что-нибудь, или просто сдавали их в комиссионный. Мать не сопротивлялась. Она с благодарностью принимала вазы одну за другой. Больше того, даже ждала, когда ее очередной класс станет "выпускным" и простится с ней, поднеся в подарок хрустальный сосуд.

Вчера, когда Катя вернулась, мать ужинала одна, окруженная вазами. Горел торшер. Лицо у матери было торжественным, но на Катю она посмотрела так, будто была застигнута за чем-то предосудительным.

- Ты все время приходишь поздно...

Катя хотела уйти из комнаты.

- Постой... Вот ты однажды сказала, что вазы я люблю больше, чем учеников...

Это, конечно, бестактно и грубо, и мать часто напоминала об этом.

- Так вот... Это неправда! А ты...

Мать заплакала, не скрывая слез. Ей нравилось плакать. Катя молчала и думала, что почти понимает это вдохновенье бесстыдной любви и жалости к самой себе.

Рабочий день кончился. Раздался звонок. Часто захлопали двери.

К Ивану Игнатовичу за минуту до звонка зашла с ворохом бумаг толстая женщина, инженер по технике безопасности. Они там что-то обсуждали, будто и не слышали громкого звона.

Екатерина Николаевна собралась, взяла зонтик и заглянула в кабинет.

- Подождите, - Иван Игнатович остановил ее. - Вы мне нужны.

Ждать пришлось долго. Наконец они вышли из кабинета. Иван Игнатович проводил гостью, непринужденно улыбаясь, но, обратившись к Екатерине Николаевне, сразу задумался и погрузился.

- Я хотел тебя подвезти...

Его старая полусамодельная машина, тарахтя, завелась, и они помчались. Из-под колес летела вода. Иван Игнатович гнал по мокрой дороге, как сумасшедший.

- Зачем Вы так гоните? - спросила Катя.

- Мало времени... У тебя день рождения сегодня? Поздравляю. Ты очень празднично выглядишь...

У калитки маленького дома на окраине он вытянул ее за руку из машины и повел через двор.

- Я ненадолго зайду?

Катя кивнула.

- Это тебе, - он сунул ей в руки маленькую коробочку. - Смотреть будешь потом, ладно?

Катя опять кивнула. Конечно же, Иван Игнатович ничего не забыл, он все придумал и рассчитал заранее.

На крыльце умывался кот. В дверях стояла мать, растерянно улыбаясь. Она посторонилась, пропуская Катю и гостя:

- Проходите, пожалуйста...

Катя открыла дверь в комнату. На столе была скатерть, во всех вазах - цветы. Под столом сидели Иванов и Сергеев. Обнаруженные, они вылезли и стали поздравлять. Техник Люда появилась из кухни с горкой тарелок в руках.

За столом Иван Игнатович вел себя тихо, даже застенчиво, только порой улыбка на его лице сменялась какой-то гримасой.

- Вы, Иван Игнатович, на работе были сегодня не слишком-то любезны, - заметила техник Люда.

- А это, чтоб вы не слишком тосковали по мне, когда меня с вами не будет, - Иван Игнатович придал своему лицу зверское выражение.

- Женщины! Вежливость вы понимаете как слабость, любовь - как святость, глупость - как знамя, а сами себя - как должное...

Техник Люда засмеялась:

- А все-таки хорошо, когда все мы вот так вместе, близкие и родные...

Иванов и Сергеев хором гаркнули:

- Служители вакуума...

Иван Игнатович вздохнул: в самом деле, как можно изучать то, чего нет?

И все засмеялись.

Пожелали здоровья новорожденной и ее матери. Иван Игнатович напомнил, что завтра надо заменить один из приборов на стенде. Хотели уже поднять тост за присутствующих, но не успели. В дверь постучали.

Вошли два миллионера и с ними человек в штатском, который, назвав Ивана Игнатовича по фамилии, предъявил ему ордер.

Иван Игнатович встал:

- Я готов. Разрешите проститься...

Он шагнул к Екатерине Николаевне. Сумасшедший, в сбившемся набор галстук. Он что-то проворчал или прорычал. Ей послышалось: "Дорогая моя..."

Она не ошиблась. Были сказаны именно эти слова.

Екатерина Николаевна упала ему на грудь.

Иван Игнатович стал меняться в лице. У Екатерины Николаевны сжалось сердце.

Ивана Игнатовича увели. Екатерина Николаевна заплакала.

- Неужели он действительно виноват?

- Видишь ли... Он не тот, за кого себя выдавал. Давно жил по чужому паспорту и диплом имел поддельный. А, кроме того, он часто и грубо нарушал правила техники безопасности при работе с вакуумом... Но не волнуйся. Много ему не дадут. Даже, скорее всего, ничего... Даже, может быть, обойдется без суда. Все сроки давности уже вышли...

- А почему они явились за ним ко мне?

- Думаешь, у него есть дом?

Катя вспомнила про коробочку, подарок Ивана Игнатовича. Что там?

Она вышла во двор.

В коробочке на зеленом ювелирном бархате сидел живой усатый жук. Почуввав волю, он немедленно расправил крылья, поднялся и улетел.

Катя крикнула ему вслед:

- Стой, предатель!..

Поздно вечером Катя вышла проводить гостей. Они были веселы, беззаботны. Техник Люда хватала мокрые ветки и обрушивала потоки воды на Сергеева и Иванова.

Вернувшись, Катя долго не входила в дом. Сидела одна во дворе.

Кот сверкнул глазами на крыше старого полуразрушенного крольчатника. Давно, когда Катя была маленькая, отец держал кроликов. Бить их сам он не мог - жалел и сдавал в приемный пункт.

В начале зимы он сажал своих кроликов в мешок и рано утром шел

ним на другой конец города. Там, у деревянного павильона, уже стояли люди с мешками и ждали, когда придет приемщик и откроет железный засов.

А два раза в лето, в первый – это всегда было перед катиним днем рождения, отец подолгу ходил возле клеток озабоченный и что-то высчитывал. Потом говорил: "Сегодня – пуцу". И называл срок, когда должны будут появиться на свет маленькие крольчата.

ЖАЛОБНАЯ КНИГА

Лежит она свободно на столе, так что всякий может ее читать, и даже каждый, кто захочет, может в нее писать – что вздумается. Я читаю.

Называется книга – "Журнал Учета Нарушений Контрольно-Пропускного Режим". В книге – графы: дата, фамилия, имя, отчество и должность задержанного; кем задержан, за что задержан; стоимость похищенного; какие приняты меры. Ниже – записи, но ни о задержанных, ни о похищенном речь, к счастью, не идет.

07.01.89. Не работает электрический звонок. Знает директор (тов. Нерубератаев Э.И.). Сторож Кошка.

11.01.89. Сработала сигнализация 1-го отдела (тов. Фролов). Сторож Кошка.

16.01.89. Нет одного стула в комнате сторожей. Сторож Кошка.

18.02.89. Нет одного стула в комнате сторожей. Сторож Васнецов.

24.02.89. Перегорели лампы дневного освещения в помещении дежурной комнаты сторожей. Поставлен в известность зам. директора Иван Константинович. Обещано принять меры. Сторож Васнецова.

02.03.89. Свет налажен, все лампы горят. Сторож Васнецова.

15.03.89. (12.00). Исчезла вазочка для цветов. Сторож Васнецова.

16.03.89. Нашлась вазочка для цветов!!! Сторож Богданов.

28.03.89. (10.20). Не явилась смена сторожей. Сторож Богданов.

02.04.89 (9.15). При сдаче дежурства не явилась смена в 9.20. Сторож Богданов.

06.04.89. При приемке дежурства в 18.00 ключ от входной двери во двор здания отсутствовал. Сторож Васнецова.

19.04.89. (18.30). Не работает кодовый замок входной двери, плохо закрывается дверь. Срочно исправить. Сторож Васнецова.

22.04.89. Повторено и в третий раз!!! Сторож Васнецов.

24.04.89. Не работает код у входной двери, пора бы руководству обратить на это серьезное внимание. Сторож Васнецова.

27.04.89. Если код снят – сказать об этом сторожам нужно. (Без подписи.)

28.04.89. Не работает код!!!! Сторож Богданов.

29.04.89. Охрана объекта нарушена. Не работает кодовый замок с 19.04.89. Снят блок питания, но от этого - не легче. Ряд помещений не задействован под контрольную сигнализацию с пульта управления. Терпеть дальше невозможно. Срочно примите меры. Сторож Васнецова.

28.05.89. Убедительная просьба!!! Отремонтируйте код!!! Сторож Богданов".

Из окна соседнего дома, жилого, вывалилась и звонко разбилась стеклянная банка. Я узнаю ее по звуку. Так разбиваются, упав с высоты, только трехлитровые банки.

Четыре часа я уже на посту. Надо мной ярко горят дежурные лампы. На этом объекте я в первый раз. Прежде были другие: детский сад, продовольственный магазин, кирпичный завод.

В детском саду я долго не мог привыкнуть к маленькой детской мебели в комнатах. Казалось, я охраняю что-то ненастоящее. На заводе было холодно, сыро и дико, а в магазине ночью стучали в окна, хотели вина, предлагали любые деньги, не верили, что я не оставляю себе про запас.

Здесь я охраняю Академию наук, филиал теоретических проблем.

Спать мне совершенно не хочется. Я отчего-то в последнее время плохо сплю по ночам. Даже если засну, скоро просыпаюсь.

Продолжаю читать журнал учета:

"06.06.89. Безобразие! Снят телефон в дежурной комнате сторожей. Он (вероятно, имеется в виду сторож) лишен крайне необходимой связи со всеми звеньями охраны объекта. (Без подписи, почерк Васнецова или Богданова, но, может быть, и Васнецовой.)

23.06.89. При приеме дежурства сторож..."

На этой фразе я спотыкаюсь. Все куда-то проваливается, прекращается. Где я был в то время, которого я не помню? Мозг, допустим, спал. А где была душа в то время, которого я не помню?

Понемногу что-то прояснилось. Какая-то снежная горка из детства, склон большого оврага, обсаженного деревьями и обстроенного серыми городскими домами унылого типа. Я поднимаюсь по склону.

Я бегу вверх, там - какой-то убогий дворовый столик для домино. Небо надо мной пасмурное, как в марте. Я бегу вверх, мне навстречу какие-то люди навеселе, безусловно знакомые. Это наша местная пьянь и шпана, обитающая в окрестностях винного магазина. Магазин этот рядом, два или три дома направо, по склону - вдоль.

Сколько их было? Я запомнил троих, потом еще двоих, потом еще. Вероятно, их было много.

Я их всех останавливал, спрашивал: "Кто?!"

Они почти не улыбались, хотя было видно, как смешно им на меня смотреть. Отвечали: "Не знаем".

Если б я надеялся с ними справиться, я стал бы их всех сейчас бить, чтоб они сказали, хотя и знал, что все равно не скажут, знал со всей полнотой отчаянья.

Я все же схватил одного и стал трясти: "Врешь! Ты знаешь!" Это было уже наверху, у столика. Сразу подошли еще забулдыги: "Ну что ты пристал к человеку, откуда он знает? Мы тоже не видели".

Дело в том, что незадолго до этого (я вспоминаю во сне о приснившемся ранее?) я поставил на этот жалкий столик полный ящик водки (чужой!), пошел искать телефон-автомат, его не было, я уходил все дальше, а когда, так и не дозвонившись, опомнившись, побежал назад, встретившийся мне один из этих гнусных сказал загадочно:

"Всё. Теперь тебе хана - выпили твою водку..."

Пока я поднимался, я все еще надеялся, что водка цела, хотя бы большая ее часть. Напрасно. Две или три пустых бутылки валялись под столиком. Столько же почти допитых стояло на столике, ящик был рядом, в снегу. Тогда-то я и попытался схватить за шиворот попавшегося мне алкаша...

Теперь о том, откуда у меня ящик водки. Снова воспоминание во сне о приснившемся или снящемся предыдущее, смешение времен.

Водку я приобрел для одного осужденного на смерть - на его день-ги. Вы знаете, что теперь стоит водка?

Серый мартовский воздух, сколько я его ни вдыхал, не придавал мне сил - это был воздух отчаянья.

Из серых душных сумерек выплывает лицо осужденного. Он страшен, он бледен, он просит.

"Понимаешь, это - в последний раз..."

Я не знаю, кто он, не помню, где и как познакомился с ним. Знаю почему-то, что преступление свое он совершил, обрушив на чью-то голову крышу сарая. И что соучастницей его была (по странному стечению обстоятельств) его несовершеннолетняя дочь. Высокая девушка-девятиклассница с бледным круглым лицом. Она помогала отцу раскачивать крышу.

И вот мне сказали (кто сказал? почему мне? наверное, по телефону?), что можно передать ему ящик водки, и что именно я должен (почему?) принять участие в его судьбе.

Я получил для него тысячу рублей в какой-то кассе и расплатился за водку в нашем магазине некими странными чеками и червонцами, на которых вместо Ленина были (отчего?) фотографии моих детей, и мне было жалко и страшно, мучительно страшно их отдавать...

Я проснулся от телефонного звонка. Спрашивали с центрального поста: все ли в порядке на вверенном мне объекте? Я ответил: "Да, всё".

Где-то часы пробили два, потом донесся сигнал радио, а потом еще какие-то часы снова повторили: два. Далеко-далеко заскрипела дверь, или, еще дальше, это - гудок корабля в порту...

Гады эти алкаши во сне. Ну, взяли бы две, три, пусть даже четыре бутылки...

Продолжаю читать:

"29.07.89. При приеме дежурства в 12.00 связь не работает. Поэтому не был поставлен на охрану руководством учреждения объект за пультовым номером 29-94. Оставлять сторожа на выходные дни без отремонтированной телефонной связи - преступление. Сторож Васнецова.

03.08.89. (9.50). Смена не пришла. Больше ждать не намерен. Сторож Перемышлев".

ПИСЬМА ПИОНЕРОВ И ШКОЛЬНИКОВ ПРЕДСЕДАТЕЛЮ МАО

1

В библиотеке, когда уже почти все ушли, кто-то поднял над головой шапку и спросил: "Чья?"

Я бы ничего не имел против, чтоб эта кроличья шапка была моя, но это была, увы, не моя шапка.

Все были опрошены, но хозяин не назывался. Видно, он так и ушел, без шапки.

Я не знал, что сделать, чтоб взять себе беспризорную шапку: свою-то я, собираясь уходить, уже надел на голову.

"Вы что же, - сказали бы мне, - в двух шапках пришли? Или у вас две головы?"

Я долго думал, но придумать так ничего и не смог.

Дорогой председатель! Пришли мне шапку! Когда я был маленький, у меня была красивая рыжая шубка из китайских кошек.

2

Колхозный рынок. У высоких ворот просят милостыню ветераны войны и труда. Ворота рынка - это, собственно, не ворота: просто высокая деревянная арка с надписью: "Колхозный Рынок".

Это все так просто. И жизнь в том, может быть, только и состоит, чтоб касаться... только раз, может быть, коснуться шершавого края...

Цены на рынке совсем немного (однако) возвышены: кролики стоят два рубля за каждую несчастную пару ушей, пиво - семьдесят копеек.

Как ни краток наш так называемый жизненный путь, но еще короче счастливое состояние легкого опьянения, вызванное этим пивом.

Одни ветераны просят, другие ждут освободившиеся бутылки для сдачи в приемный пункт, ссорятся из-за них.

Я все свои отдал одноглазому, а надо было, может быть, отдать

тому, который приехал на велосипеде и, даже собирая бутылки, все время держал его за рога?

Жизнь так устроена, что даже мне все время приходится выбирать.

Торгуют прямо с грунта кофточками, лифчиками, юбкой-один-рубль, игральными картами без упаковки. Может быть, если кто захочет купить, станет их прежде пересчитывать: все ли тридцать шесть?

Среди всего прочего книги: Чехов, Куприн, "Рассказы о чекистах". Из-под "Лягушки-путешественницы" в мягкой обложке выглядывает Ленин: какой-то том из собрания и отдельно "Материализм и эмпириокритицизм".

Знать бы мне, что значит это последнее слово... Может быть, потому никто и не покупает, что не знают?

Кроме того: продают кран водопроводный, редуктор газовой плиты, стеклянную пепельницу, женские босоножки, некогда белые, теперь серые, тонкие сверла в промасленной бумаге.

А в деревянных рядах: редька, редис, махорка...

Дорогой председатель! Что мне купить на следующем базаре? Денег у меня, правда, мало...

3

Дорогой председатель! Говорят, ничто ничему не тождественно. Но если тождества нет, а мы его выдумали, то как же тогда... классовая борьба и все то другое, что делает жизнь индивида общественно-значимой и полнокровной? И немного загадочной?

4

Утенки за уткой, как народы идут за вождями.

Хочется мудрости и добродетели, а не одного только всесветного маскарада-парадокса.

Ты, председатель, владеешь своими и даже чужими чувствами, иероглифами на рисовой бумаге пишешь, чтоб ни женщины, ни солдаты не забывали вить веревки, которыми зеленый дракон будет связан.

Я дешевые сигареты курю, но все мои дни, как праздники, и даже, случается, воображаю себя царем. Иногда вижу это во сне. Очень беспокойный сон. Настоящая административная каторга. Начинается так:

Я говорю: "Хочу быть царь!"

Она отвечает: "Будь".

Тогда я сам себя спрашиваю: "Ну, хорошо, царь. А зачем царь? Кому царь? Почему царь?"

Я пиво пью, и женщин обманываю, и обманываю себя.

Но тебя, председатель, я никогда не смогу обмануть.

Все взаимоустроено и связано на свете. Одно к другому восходит и

выходит одно из другого, как суставы бамбука. Но знает ли кто путь истинной добродетели?

Дорогой председатель! Твои портреты на улицах и площадях носят с песнями, я сам видел в кино. И страшатся самый маленький твой портрет уронить во прах. А у нас безумные дети лица один другому сажей мажут.

Дорогой председатель!

Я не хочу быть царем. Мне и этого было бы мало. Мне надо быть еще и отверженным, и нищим, и дервишем. Я всеми хочу быть.

Но для этого надо быть как ты, председатель... А это разве возможно?

Дорогой председатель! Есть ли где без шипов роза?

5

Немного о себе.

Я один, 1, один прописью, один.

Сильный дождь немного разогнал забулдыг у палатки, оставшиеся быстро прошли, получив свое пиво, и я остался один...

Дождь кончился. Я шел по улице. Один.

Демонстрация. Флаги, плакаты, выкрики с мест, хрип мегафонов. Я искал кого-то в толпе. Не было никого. Один.

Напившись крови, комар улетел, и я остался один в темноте комнаты. Громко шли часы, сердце работало трудно, устало.

Вчера она была у меня. Говорила, что одна, плакала, жаловалась, как плохо одной.

"Я одна, - повторяла она, - понимаешь, одна!"

Утром я ей сказал:

"Люся, вступи в ДС или куда-нибудь, найдешь себе товарища по партии..."

Дорогой председатель...

6

Вероятно, на самом деле, очень немногие люди терзаются тайнами жизни. Даже обреченные на свой подвиг исследователи вскорости спешат вернуться к чему-нибудь мирному и конкретному, вроде антропологии или географии, и удовлетворяются тем, что изучаемые подробности сами собой выдают какие-нибудь обобщающие картинки вроде эволюции или относительности.

Тайны требуют слишком мучительного напряжения разума и всего существа.

В состоянии отвлеченности от мучительных тайн можно даже читать, а когда думаешь все об одном, можно только смотреть в окно, или в потолок, или в небо.

Дорогой председатель!

Дорогой председатель, мы же, в сущности, почти ничего не знаем...

Нас клянут и казнят, осуждают и не понимают, но разве вся жизнь не есть трудовое перевоспитание?

7

Мне иногда кажется, что я весь соткан из китайских фамилий, как циновка из тростника. Китайские фамилии – как клетки, как строительный материал: Фу, Ду, До, Фа, У, Ху... Все живое на свете переплетено и перепутано. Где-то тронешь – везде отзовется.

В Китае происходят, оказывается, парламентские выборы, а в наших газетах – тишина. В наших газетах только:

"...Омскому ипподрому сто лет. Этого праздника любители спорта ждали давно. Сто лет назад на средства омских купцов... А в Аргентине объявлено о повышении жалования военнослужащим на двадцать процентов".

Еще пишут, что по данным опроса восемьдесят процентов опрошенных готовы собственными руками привести в исполнение приговор о высшей мере наказания... Скажите, какая кровожадность... Может быть, не тех опрашивали?

Дорогой председатель, я знаю, ты выберешь в парламент достойных, ибо недостойные – недостойны, и белоснежным трауром они запятнают яркий шелк революционных знамен.

8

Не боги обжигают горшки.

Боги не обжигают горшки.

Боги, которые обжигают горшки – не боги, а бог знает что.

Что есть кто?

Кто есть что?

Измученные логикой и бессмыслицей своих суждений, обжигатели горшков думают, что они...

Дорогой председатель! Ветер с Востока дует на нас, и мы боимся.

Дорогой председатель, ветер с Востока дует на нас и волнует воду.

9

Вблизи площади имени великого пролетарского поэта, в переулке, пивная палатка. напротив – гора кирпичей. И на кирпичах пьют пиво.

Праздник жизни. Пьют из банок, бутылок, бидонов, молочных пакетов. Появляется капитан. Капитан-исправник? Приходит и гонит всех, чтоб не пили пива на казенном кирпиче, который есть государственная собственность и все прочее...

Капитан гонит нас, и мы уходим; расходимся, чтоб снова собраться у кирпича, как у столиков, когда капитан уйдет.

Но вот звучит команда: "Огонь по штабам!"

Мы хватаемся за кирпич, мы разбираем кирпичную гору, мы... Нет... Мы не трогаем казенного кирпича, мы расходимся, каждый сам по себе, потому что не звучит команда: "Огонь по штабам!"

Дорогой председатель, почему никто не командует: "Огонь по штабам! "? Разве булжник больше не орудие пролетариата?

10

Письмо издалека

Природа берет свое, как берут города. Или, может быть, лучше сказать, как смелость берет города.

Город взят, и мир становится иссиня красным, доходит до белого каления, и все становится отечески-эфиопским.

Дети - самураи и камикадзе. Вишневый цвет на сливе и на березе. Ум в конце концов заходит за разум. И это имеет свой вполне отчетливый и личный смысл. Если одно заходит за другое, как солнце за желтую степь - это благо, ибо, по крайней мере, в начале не требует личного участия...

Мир народам, война крестьянам! Наши - отмстят!

Наши - это все равно кто...

Природа, взяв свое...

Деньги, полученные от продажи украденных в общежитии женских сапог, переведены в детский фонд.

Дорогой председатель! Дети вырастут, выучатся и напишут тебе сами.

11

Дорогой председатель!

Нелегко мне быть пророком в своем отечестве...

12

Дорогой председатель!

Пишет Кирилл Иванов из Вологды.

Как мне быть?

13

Отдыхающие идут с пляжей, неся с собой пестрые флаги полотенец и одеял. И халаты, как флаги, и купальники на женщинах, как маленькие флажки, да и сами женщины - флаги. А кругом сухой белый песок, и ветер слабо дует от воды. В редких колючих кустах густо звенят насекомые.

Вечером возвращаются рыбаки. Они несут длинные удочки и маленьких пойманных рыб.

Дорогой председатель, я в первый раз на курорте, мне все так удивительно, мне даже странным кажется, что можно все время отдыхать и ничего не делать. Над нами белыми шапками стоят горы, серебряными листьями дрожат и звенят высокие тополя.

14

Видели вы птицу с квадратными плечами и детским лицом? Это страшная птица. Серая птица. Она одна такая...

Так я отвечал на экзамене, и никто ничего не понял. Это обидно, потому что я очень усердно готовился. Правда, сдать экзамен у нас - не значит еще получить должность. И должность можно получить, не сдавая никакого экзамена...

Я - это мое тело, чувствующее, мыслящее? Или я - это просто я?

Но если так, то почему, бросившись в воду, я плаваю так жадно и радостно? Ведь это тело мое плещется, поворачивается в воде всеми своими сторонами света...

А если я - это не мое тело, то, может быть, я - это мои раны?

Или, может быть, я - это просто я?

Я, чудище мыслящее...

Дорогой председатель, женщины у нас в стране крупные, как газеты больших иероглифов. Так мне не удалось пока встретить ни одну, вокруг талии которой я мог бы повязать пионерский галстук...

15

Дорогой председатель!

Говорят, и для нас ничто уже не секрет, и мы все знаем.

Неизвестно только, все ли действительно нам известно, или что-то продолжает держаться еще в секрете...

Неужели и вся наша жизнь - губка греческая?

Губка греческая - буржуазная либерализация.

Губка греческая состоит из нулей. Не слишком ли много нулей?

Не слишком ли много пустот?

Может быть, это все одна пересеченная и перепутанная пустота?

Губка греческая - смена сезонов; зима, весна, лето...

Губка греческая - лето красное...

16

Бей своих, чужие да убоятся!

Демократия торжествует почем зря.

Из газет: читатели спрашивают, писатели отвечают.

Оказывается (из газет), что резиновая дубинка - вовсе не дубинка, а палка резиновая - РП, и стоит она не сто рублей, а 2 рубля 33 копейки и применяется для защиты Советского государства...

Демократия по-гречески значит народовластие.

Но это, может быть, только по-гречески?

Дорогой председатель, как мне написать демократию по-китайски?

17

И то правда, и другое. И столько правды, что поневоле приходится верить.

"Ин витро веритас".

Иные думают, что Китай - это там, где все желтые и узкоглазые.

Все время приходится разъяснять недоразумение, разоблачать выдумки недоучившихся студентов и средних школьников.

Коммунально-шанхайский и отдаленно-сельский Китай бьется в нас с частотой пульса.

18

Я люблю читать про лис. Потому и служу сторожем-стрелком-контролером, что люблю читать. Где еще я смог бы читать при исполнении обязанностей?

И ко мне однажды пришла лиса. Зимней ночью она пришла в мою караульную будку. Маленькая, бледная, ей было холодно. Она и плакала, и смеялась. Ее пугал грохот работающего на заводе крана.

Я не хотел чтоб она уходила, мне было с ней хорошо, я только боялся, что она украдет мой револьвер-наган, и меня посадят в тюрьму за утрату оружия.

Утром она ушла. Я ждал, что она снова придет, но больше она не пришла, потому, наверное, что на нашем посту завели собаку. Я хотел убить пса, но не мог решиться. Чем пес виноват? Для лисы естественно бояться собак...

Дорогой председатель! Может быть, и ты Лис, и отец лис, и отдашь мне одну из своих дочерей?

19

Дорогой председатель!

Разбирают Великую стену! Разбирают на кирпичи для постройки сараев, заборов и дымоходов.

Так разобрали после войны древний Кремль у нас в Коломне. Так разобрано уже много стен...

Дорогой председатель...

20

Коллективное письмо

Могут подумать, мы язычники.

Мы не язычники, нет. Язычество - это, когда бог другого спрашивает: "Ну что? Как дела?"

Мы - иероглифы.

Иероглифы - вода и плоть того, что есть, и того, чего нет, того и иного. Иероглифы - перенос огня.

Иероглифы - одиноки.

Мы одинокие иероглифы в стае или в стаде китайнописи.

Есть иероглифы воды, и есть иероглифы жажды.

Мы - иероглифы жажды.

Мы ждем воды.

Дорогой председатель, будет ли нам вода?

21

Дорогой председатель, неужели это правда, что ты уже умер, и я никогда тебя не увижу?

* * *

Грустно жить на ветру

над редисами и чесноками.

Поскорей бы зима - на законный покой удалиться.

Огородное чучело машет пустыми руками.

И к нему никогда

не летают влюбленные птицы.

Поскорей бы зима - в деревянный сарай за кустами,

Отдыхать в темноте под метели напев хрипловатый.
 Может быть,
 в рукава забегут голубые мышата,
 Запищат, зашуршат, защекочат хвостами...
 А пока на ветру
 прозябать на виду у прохожих,
 И скрипеть,
 и дрожать, птиц пугать – невеселое дело.
 Одиноко стоит человек, на живого похожий –
 Деревянные кости,
 фуражка,
 почти невесомое тело.

* * *

Среди трав, где и сам трава я,
 Сок и семя – мои права.
 Я на двадцать шестом трамвае,
 Умозрительном, как трава...

Дни и ночи свежи и живы.
 Звонко точатся топоры
 Над соцветьями одержимых
 Золотые летят шары.

Звуки зимние безотрадных:
 Стон осины под топором
 И нашествия травоядных
 Настигающий дым и гром.

И над всей трамвайной державой
 Тихо бредят ее сыны –
 Все, отравленные отравой
 Твердокаменной трин-травы.

ПАРК

Время грустно, погода уныла.
 Мы страдаем у всех на виду:
 Неизвестная темная сила
 Фанари зажигает в саду.

Кто таков этот гнусный предатель?
 На какой, непонятно, предмет
 Он вращает во тьме выключатель,
 Зажигает искусственный свет...

Ощущенье кораблекрушенья
 Под надзором внимательных глаз
 Электрический свет просвещенья
 Освещает гуляющих нас.

Он простой, он из тонкой фанеры,
 Он усталый, квадратный, большой,
 Одинокий, печальный и серый,
 Красный, черный и страшно чужой.

* * *

Что за жизнь была! Горела трава.
 И тепло и светло от огня травы...
 У гусей осталось по три крыла,
 Хорошо, хоть у кур по две головы.

И не очень плохо, и еще светло.
 Хорошо нам жить, ничего не знать.
 Куры прячут голову под крыло,
 Оставляя другую совсем не спать.

* * *

Среди людей водоворота,
За турникетной загородкой
Два дружных нежных идиота
В метро болтают с идиоткой.

Два идиота идиотку,
Зеленоглазую кретинку
Рассматривают как картинку,
Как драгоценную находку.

Они пока еще беспечны,
И ничего не понимают.
Они расстанутся, конечно,
Поскольку полночь наступает...

Другие всякие субъекты,
Скитаясь в метрополитене,
Скользят неслышные, как тени,
Как существа с другой планеты.

Им тоже не хватает света,
Им тоже не нужна награда.
Они качаются от ветра,
Они научатся, как надо,

Вольнолюбивые по сути
В пределах наших эфиопий,
Недооттаявших от жути
Коммунистических утопий...

Так жизнь идет в подземном своде,
Она проходит и уходит,
Хотя, возможно, что в природе
Чего-нибудь, да происходит.

И где-то есть другие страны,
А там другие идиоты,
Необоснованно и странно
Укрывшиеся от учета...

Два идиота субъективны,
Они в метро, как в чистом поле,
Они надеются наивно,
На вероятность лучшей доли...

Квадратный круг тоски духовной,
Заучит позже каждый школьник:
Так называемый любовный
Прямоугольный треугольник.

Пустыни, ямы и канавы,
Леса, сараи и заборы,
Еще какой-нибудь отравы
Вечнозеленые просторы.

Подземный свод, печное действо,
Довольно душная прохлада.
Так называемое детство,
Неискушенность – и не надо.

Цветы и фрукты, снег и ветер,
Вода и хлеб, вино и водка...
А им дороже всех на свете
Непуганная идиотка.

Ни тьмы пустот, ни страха тленья:
Огнеопасное веселье:
Прекрасная и, к сожалению,
Единственная в подземелье.

Мы это долго изучали,
Мы по ночам во сне кричали,
Мы долго молча отступали.
Досадно было. Боя ждали.

* * *

Под прикрытьем мрака и темноты,
Неожиданны и дики,
Из людей выпрыгивают коты
И уходят кверху, на чердани.

И пропасть бояться, и успеть хотят.
Огоньки во тьме горят там и тут.
Это кошки рядами сидят,
И горят глазами и ждут.

Чуть заметен свет. Весь внутри огонь,
Он укрыт, как в сон, в телесную рвань.
Ибо каждый кот – по-своему конь,
А каждая кошка – лань.

Пусть шуршат вокруг несбывшиеся мечты
Ворохами свидетельств и паспортов...
Ведь находят кошек своих коты,
И находят кошки своих котов.

Утром мы идем к своим поездам,
Уезжаем во всякие города.
И грустно нам, и холодно нам,
И страшно нам иногда.

Но не страшен страх. Он как лишняя ложь,
Как бессмысленный самих от себя побег.
Ибо каждый кот – по-своему дождь,
И каждая кошка – снег.

Сергей ВОРОПАЕВ

◆ АЛЬСТАРТ

Санька Дымов, не до конца забуревший "фазан", притулившись к крыльцу казармы, задумчиво трудился прокуренным пальцем в носу и баюкал свое сиротство. Трудные в зачатии и многосложные в утробе мысли его при появлении на свет божий оказывались жалкими и худосочными, как придорожная трава. Тогда Санька морщился, будто от зубной боли, и горестно вздыхал по-стариковски.

"Бог создал рай, а черт - Приморский край", - то и дело перекатывалось в маленькой санькиной головешке с розовыми оттопыренными ушами.

Новенькую, только что выданную по случаю весны главным казарменным командованием пилотку, которую он даже не успел испоганить с изнанки хлоркой со своей фамилией, у него сперли накануне ночью, и, без того протертая до дыр, санькина вера в человечество истончалась вовсе, рассыпалась, смешиваясь с песком, и становилась прахом.

Вдобавок, дремучий, сроднившийся с вооруженными силами "кусок", обнаруживший поутру белым в своем пропорском глазу в виде неуставной зимней санькиной шапочки, не утруждая мозги разбирательством, в сердцах пресек злостное волюндумство и обозначил Саньку на подсобное хозяйство ухаживать за свиноматками. Напарником сунули толстого - "морду в три дня не обгадить" - Денисьева, матерого дембеля по кличке "Тухлый" - его было всегда за что.

Тухлый был не злобен, отходчив, к казарме приспособлен слабо, поскольку половину службы провел на "губе", матерщинником значился каких поискать, любил почудить и пореготать ввиду скукоты внешнего мира. К тому же, для удобства существования, он в открытую шарил "под чайника", чем вызывал к себе уважение полковых хануриков.

Дымова Тухлый не задевал, более того, некое тайное неслынявое родство соединяло обоих.

Всю долгую, как ледниковый период, зиму подпирали бесцветное нероссийское небо дымные кошачьи хвосты над крышами зарывшегося поглубже в снег городишки, что было единственным признаком затаившейся в домах жизни. Поглядывая в небо в редкие минуты роздыха, хлюпя облоупанным помороженным носом, Санька мрачно думал о том, что воинские люди, в силу своего разума, специально сажают гарнизоны в местах гиблых и неуютных, с тем, чтобы один только вид этих мест убивал в душе желание красоты и воли. Где-то глубоко внутри Саньки прорастал неясный слабый протест спариванию гнусного казарменного бытия и бездумной сволочной жизни вокруг. "Чего тут охранять? - скрипел мозгами Дымов. - Кто на это позарится?"

Ожидаемая Санькой весна прикатила на смену лютой снеговухе как бы невзначай - в несколько дней потекло, раскисло и просохло. Воздух из влажного сделался сухим, и первая свежая пыль щекотно забивала нос и складывалась под гимнастерку. Ежедневно страшно расчесываясь, Дымов едва не позабыл совершить двенадцатую зарубку на ремне. Никак не отмеченная внешним проявлением армейская годовщина, если не считать равнодушно теткинго письма, слабо согревала стывое санькино нутро.

"Время вперед хоть и медленно ползет, а взад совсем не идет", - морщился случайной рифмой Санька.

...Через малое время, пугая в предбаннике зеленую молодежь сочными войсковыми словами, на крыльцо вывалился шумный, как паровоз под парами, Денисьев. Он кинул Саньке обкусанный по краям выцветший бушлат и новенький штык-нож, погромыхал утренней перловкой в животе и добродушно, замысловато выразился:

-! Пошли, корефан!

Природа, руками сумасшедшего хлебопека, лепила Денисьева наспех и не всерьез. Скатила огромный ком пресного теста, тронула дважды ножичком - получились глазки, нащипала снизу - образовались губы. Нос и уши - уже из остатков. Обмакнула гусиное перо во что-то липкое и навечно припечатила к лицу детское изумленное выражение. Наспех сделанный Денисьев любил жить шумно и беззаботно.

За КПП он потянулся сладко, поморщился на робкое солнышко и почмокал душевно:

- Эх, ёшь растудить... Иде там мой дембель?

Посеребренный пылью, будто вымерший городишко, похожий на случайный плевок, зацепившийся за край российской карты, не чухался и не вязывался ни малейшим движением в переливы его душевности, а чахоточная весна никак не отзывалась среди обколупанных мелких строений.

Молча вышагивали по немощным улочкам, брезгливо обходя еще с зимы вывороченные равнодушными курнулями прямо на дорогу, пахучие ввиду потепления мусорные кучи. На столбах плескались без всякой надобности тряпочные флаги - с праздников. Песок под ногами скрипел, аж сводило зубы, будто кто-то старательный терпеливо тер гальку о гальку.

Там, где кончались втихую последние, по окна вросшие в землю деревянные домишки "шанхая", высился на пригорке двухэтажный, поносного цвета гарнизонный госпиталь, возле которого в чахло-палисадничке, лениво покуривая, наслаждались разными болезнями корефаны в порижелых как крысиные хвосты халатах и дембельских кожаных шлепанцах на босу ногу. В прошлые времена в госпитале агукал родильный дом местного населения, но за малой активностью жителей, а может, еще по каким важным причинам, его прикрыли, и военные клистиры оттяпали строение под свою медицинскую нужность. Всякое безнадобное теперь "женское" оборудование

тоскливо ржавело в соседних сырых овражках, где и кособочилось кое-как для виду огороженное жердинами подсобное хозяйство.

Начальство сюда глаза не показывало, работы человеческой не существовало вовсе, только вычистить говно с утра, да к обеду засыпать рубон хавроньям, чтоб покушали, который привозит полковая "шестерка" на штабном газике в четырех огромных бидонах. Заодно привозят и жратву для наряда, в холодном и слипшемся виде, когда не позабывают. И все дела. Потому и нехилым считается по армейским меркам наряд на свиноматок.

...Санька скинул драный бушлат на пустой бачок с крантиком, к которому была приторочена цепкой эмалированная когда-то кружка, пошкрябал в амбарном замке ключом и решительно рванул низкую занерную дверцу. Из темного свиарного нутра его окатило густой прокисшей волной, заверещали утробно потревоженные свиньи, и в дверной проем ринулись на Саньку жирные блестящие мухи.

- Не-е-е... - оберегая рот от наглых насекомых, процедил Санька, отскакивая от двери. - Не пойду. Ты давай...

Денисьев, распузырив было бушлат, снова застегнул его и осторожно просунул голову в пахучую темноту.

- Да-а-а... - повернул он к Дымову кислое лицо. - Не царское это дело... Покурим! - охотно согласился он сам с собой.

Они выбрали глазами бугорок посуше, расстелили на примеченном пространстве бушлаты для удобства тела и, пощуриваясь на утреннее солнце, наладились покурить.

Редкие кучерявые облака выстраивались над головой в неоформленные бредовые картины, и было приятно дорисовывать скучную неодоушленную природу, непонятным образом перенявшую человеческую дурь.

Почерневшие от весны дальние дрожащие сопки, должно быть по ту сторону невидимой границы, держали еще снег в распадках, куда не доставало солнце. Мутный, до тошноты однообразный пейзаж отзывался в измордованной воинским братством санькиной душе тоской и неприкаянностью. Ему болезненно казалось, что нигде на свете уже не осталось ни городов, ни людей, а они об этом еще не узнали. Казалось, будто все вымерло в одночасье, не выдержав долгой людской злобы и привычного равнодушия, и уже можно жить как в подсобном хозяйстве и не мучиться внутренним смыслом. Двенадцать месяцев службы Санька Дымов при помощи военного командования и тупых деревенских долдонов учился жить скопом и выкочерывал из себя для легкости оставшейся жизни чуждые неуставные мысли. Но они лезли, размножались, плодоносили.

"Меня послали, я пошел, - думал Санька. - Я пошлю - меня посадят. Потом засудят, потом расстреляют. Я не вытерплю".

- Девяносто три сутки отмотал за службу! Домой скоро... - сбоку

поделился своим Денисьев. – У меня ванная... голубым кафелем вся. Дымов покивал доверяюще, подумал соврать было, да не придумалось. – Голубым – вся... Дадут мне десять суток – попрошу семь, – без перехода продолжил Денисьев, – дадут пять – все равно попрошу семь. Чтоб ровно!

Санька поразмыслил и внутренне согласился.

– Как думаешь, поймут? – потревожился Денисьев.

– Чего тебе... Через месяц дома будешь. Может и раньше...

– Дома я буду, когда дверь за собой затворю. И погоню в форточку выброшу... Вот тогда только поверю: дома!

Разговор потеплился и затух, каждый уткнулся в свое.

Ветер ползал где-то за свинарником в сухой прошлогодней осоке.

...Однажды, еще по первому году, затюканный вусмерть армейским житьем, принес Дымов в казарму из читальни пузатый, как поваренная книга, новехонький том заграничного писателя Шекспира. Послюнил палец, полистал книжку скукоты ради, потом как-то неожиданно увлекся и в три дня осилил. Волнуясь внутренне, подрагивая белесыми ресницами, пролистал по-новой и, прислушиваясь к себе, с удивлением обнаружил – отзывается!

Свежая, как пацанячье дыхание, незамутненная знаниями санькина память жадно всасывала средневековые страсти и после, в ночной казарменной духотище, щедро возвращала изумленной впервые душе радости и боли книжных человечков. Мучаясь на верхней койке, бессильный заснуть Дымов, разгребая ночные матюги и пахучие волны, бережно шевелил губами, повторяя наизусть так неожиданно защитившие его строчки.

Первое время, страшась измывательств, Дымов не решался вслух делиться своим открытием, но и держать в себе обретенное случайно богатство становилось невмоготу. Изредка, в очередной раз надраивая проржавевшие писсуары, Санька нацеплял на лицо маску брезгливости и старательно-небрежным голосом начинал выдавать грубой прозой наиболее сознательным, по его разумению, корейцам кое-какие куски сокровенного:

– А Кент у Глостера, значит, спрашивает: мол, Эдмунд – твой пацан? А тот толкует: "Ну, как сказать... Короче, я причастен к его рождению, сэр!"

Или:

– А Яго... мужик такой... притулился за колонной и сечет: кто кого попишет? Он – Кассио, или наоборот?

Или:

– А Гамлет, значит, думает: всем бабам имя – вероломство. Еще башмаки не стерла, в которых за гробом телепалась, а уж туда же...

Корейцы слушали, выпячивали губы, кивали стриженными макушками.

Прознавшие про санькино богатство "деды" принаровились по-своему его использовать. Для цветистых амурных посланий моршанским шантеклерам они требовали у Дымова цитаты покрасивше. И тот, растоптанный мимоходными издевательствами, обреченно отдавал им в лапы трепетные слова маленькой Капулетти.

Почти месяц Саньку не трогали, будто сам Шекспир охранял. Его не поднимали под утро мыть зубной щеткой "взлетку" в казарме. Не заставляли стирать "хэбуху" для ленивых, отожавшихся при кухне мордovorотов, заправлять за ними койки и пришивать подворотнички. И Дымов понадеялся было, что жизнь полюбила его. Шекспир охранял.

Но, однажды, сидевшие на "очке" со старанием "деды" потребовали у Дымова книжку и на его глазах весело изодрали ее для своих крупных копченых задов.

Впервые Санька Дымов решил кончиться. Но привычки не жить еще не было...

- Ну что, начнем, что ль? - без охоты, неуверенно предложил Денисьев. - Все одно тоска...

- Давай, - вздохнул Санька.

- Ты их, гадов, оттуда выкуривай, а я выгребать буду. Потом махнемся.

Санька выдрал из чахлой изгороди жердину поувесистей и решительно пошел к свинарнику. У порога в сомнениях обернулся:

- Слышь, Тухлый... А они не кусаются?

- А ты не давайся, - беспечно посоветовал Денисьев.

Санька шагнул внутрь и сразу же утонул по голенища в жидком зловонном месиве. Нащупал на стене выключатель, осветил внутренность помещения тусклыми замызганными лампочками и пригляделся опасливо.

С двадцать грязных ленивых чудиц, исторгая недовольство, лежало в дощатых загонах по обе стороны от прохода. С ветхих, тронутых гнилью стропил, обросших чудовищной паутиной, свисали скользкие поганые грибы на тоненьких ножках.

Чавкая сапогами по жидкому, Дымов прошел в самый конец свинарника, где было чуть посуше, и принялся за работу.

Плотно стиснув зубы, чтобы при вздохе не проглотить жужжащий рой, примерил дрыном и, мучительно хекнув, опустил его на спину огромного, обляпанного навозом, сопящего хряка. Неожиданно тонко завизжав, хряк очумело метнулся к проходу, едва не сбив с ног вовремя увернувшегося Дымова.

Разбрызгивая вонючую лужу, Санька носился из загона в загон, лупя налево и направо откормленных свиней. Те, с диким пронзительным визгом выламывались в проход и очумело кидались в другие загон, давя друг друга, сотрясая готовые рухнуть перекрытия и окатывая Саньку навозной

жижей с головы до ног. Санька кидался за ними, перескакивая через низкий штакетник, оскальзываясь, уходил руками по самые локти в говно, вскакивал, матерился сквозь стиснутые зубы и лупил, лупил...

Свиньи упрямо не бежали к выходу. Черпнув голенищами, роняя шапку, Санька вывалился в проход, вытер о плечо загаженное лицо и увидел в проеме двери толстую фигуру Денисьева, который искренне любопытствовал на санькину работу.

- Уйди! - гаркнул Дымов. - Видишь, не идут!

- Может, их вилами? - участливо предложил Денисьев.

- ... вилами! - заорал Санька. - Они тебя боятся! - В рот начали попадать мухи, и Санька опять плотно сжал губы.

Работу Дымов уважал. Работа съедала дни, выскребала душу, добивала внутреннего человека - спасала, одним словом.

Когда последний хряк, возмущенно блажа, выскочил из свинарника, внутрь ввалился Денисьев и "семейной" совковой лопатой принудился неистово выгребать станки. Пыхтя и отплевываясь, он упирался затылком своим животом в черенок лопаты и сгребал жижу в проход. Над ним трубой поднимался потревоженный рой.

- Нам солнца не надо, - пыхтел Денисьев, - нам партия светит! Нам хлеба не надо - работу давай!

В проходе с мятыми ведрами наготове стоял Санька. Он с размаху зачерпывал где поглубже и, сломя голову, неся к выходу. Отбежал метров на пять, выплескивал содержимое в случайную канавку и стремительно летел обратно.

Через пару часов с перекурами на ходу свинарник был чист. Свиное племя при помощи пинков и совковой лопаты кое-как загнали обратно, а сами, скинув гимнастерки, принялись самозабвенно плескаться в неглубоком ставке с темной талой водой.

Брезгливо и осторожно промывая глаза, Санька вздыхал:

- Хе, Тухлый... Ша бы сюда твою голубую ванную!

- Ага, и чтоб спинку кто потер! - живо соглашался Денисьев.

- Может, тебе и пятки почесать? - заботливо спрашивал Санька.

- Можно, - солидно соглашался Денисьев. - И пивка холодненького, кружечек двенадцать... для начала. Скорей бы уж рубон привозили, что ли... А то живот к спине прилипает.

Они напялили гимнастерки, повалились на согретые солнцем бушлаты и, переживая блаженство, начали лениво пускать в небо сладкий сигаретный дымок.

"Хорошо, - думал Санька, - когда ничего не хочется. Когда захочется - тоже хорошо".

Удовлетворенный свои мыслями, он поерзал, отыскивая удобство, и снова принялся щедро вмешиваться в плывущие к недалекой границе грудастые облака. Он лежал долго-долго, не особо насылая воображение,

пока не кольнула шальная мысль: до границы – рукой подать!

Санька глянул на сомлевшего Денисьева и, не испытыв охоты делиться словами, мягким индейским шагом скользнул за свинарник. Осмотревшись, угнездил попрочнее шапчонку на голове и, разом прихлопнув мысли, скрылся в пропыленной осоке.

...На ветхом, но высоком дощатом заборе ядовито-зеленым цветом было написано: "Граница". Пограничников поблизости не оказалось, они, как обычно, ушли в соседнюю деревню за самогонкой. На воротах висел одинокий замок.

Дымов уважительно потрогал границу руками и огляделся. Примерился было перепрыгнуть, да понял, что не осилит – высокоовато... Тогда он вытащил штык-нож и начал выковыривать им поотставшую суковатую доску.

Трудился долго, взмок. Но тут с той стороны кто-то подсобил. Доска поддавалась и отскочила.

- Пролазь, – шепнул с той стороны невидимый доброжелатель.

Санька пролез и увидел перед собой Заграницу. Заграница корчилась и неприлично извивалась, брызгала во все стороны неонем, показывала язык и разлагалась.

- Аусвайс! – потыкала Заграница пальцем-сосисочкой.

- Не понимайт, – по-заграничному, добродушно отозвался Санька.

- Мани, мани... – поманила Заграница.

- Но пасаран! – твердо отверг ее притязания Санька и, в свою очередь, поинтересовался: – Правда есть?

- "Правда" есть, – осклабилась Заграница. – И "Груд" есть. "Вечерняя Заграница" тоже есть.

- Ол райт! Карашо! – одобрил Санька. – Ну, веди, подлая. Только чтоб без провокаций у меня!

- Об чем речь? – обиделась Заграница. – Век воли не видать! Только глаза закрой.

- Но-но! – поостудил ее Санька.

Они долго колбасили пустынными, ярко освещенными улицами, пока не зашли в какой-то темный подъезд. В кромешной темноте спустились в глубокий подвал, откуда рвалась музыка и доносились голоса и заграничный смех.

- Тёмно, – определил Дымов, который всю дорогу напряженно подглядывал одним глазом. – Провокация?

- Боже упаси! Не держим-с, – задергалась рядом Заграница. – Ты глазенки-то разуй...

Санька исподлобья огляделся.

- Публичный дом?

- Зачем? Демократия!

В разноцветно подсвеченном снизу бассейне синхронно плавали

стриженные голые мужики, все как один похожие на Дымова. По мраморной кромке прогуливались томные, разной исторической принадлежности женщины. Они облизывались сладострастно и шумно подрагивали ноздрями. Их холеные лица выказывали нетерпение. То одна, то другая тыкала розовым ноготком в водоплавающего Саньку Дымова и тот, мокрый и голый, отсвечивая бледными ягодицами, выкарабкивался из бассейна. Пошептавшись с минуту, парочка исчезала в темноте.

- М-да... - подивился Дымов настоящий. - А любовь?

- Любовь - дороже! - как бестолковому пояснила Заграница. - Любовь не всем по карману. У вас не так?

- У нас по-разному, - поугрюмел Санька. - Я не за этим... Он принялся ощупывать оголившееся вдруг тело.

- Штаны... - растерянно произнес Санька.

- Потерял? - ужаснулась Заграница.

- Потерял... - подтвердил Санька.

- Ну и не ищи, раз потерял! - бодро решила Заграница. - В голом человеке карманов нету!

- В человеке-то нету... - неуверенно согласился Санька. - А вот в штанах есть! В штанах были карманы, а в карманах - речь... Программная, между прочим. Жалко...

- Ха! Речь! - сказала Заграница. - Плюнь и забудь! А об чем речь-то?

- Да так... Тебе не понять, - осерчал на докучливость Санька.

- А вдруг?

- Не понять!

- А вдруг?!

Санька хотел было кинуть в нее матерное слово, да не ко времени вспомнил, что он - советский человек.

- Там всё... о предназначении... - дипломатично раскололся он. - Поняла?

- О чем? - сморщилась, как от кислого, Заграница. - О чем?

- Ну-у... смысл, если по-вашему...

- Так ты, э-э-э... - озадачилась Заграница. - Библию, что ль, потерял?

- Причем здесь библия какая-то? - рассердился Дымов.

- Ну раз про смысл-то...

- Библия у нас, - потряс для значительности пятерней у ее носа Санька, - библия у нас отделена от человека. Усекла?

- Эх ты! - обрадовалась не поймешь чему Заграница. - Пентюх. Пентюх твоя фамилия!

- Моя фамилия - рядовой Дымов! - обиделся Санька на Заграницу.

- Пентюх, пентюх... - не приняла обиду Заграница. - Без бинокля видать, что человеческой жизни в глаза не нюхал! Когда так: вечно про

всякий мусор вспоминаете... У вас же это в крови! "Смысл", "предназначение"... Отыми это - и пшик от вас останется! Чего-то ты мне про душу покуда не рассказывал? Про душу-то давай, наворачивай!

Санька крепко обиделся, даже забыл, что он в гостях. И что голый.

- Зато ты, старая вонючка, загнешься скоро! - твердо, как учили, с металлом в голосе, произнес Дымов. - Вот так!

- С какой стати? - удивилась, обиженно выпятив губы, Заграница. - С какой ста-ати?!

- А разлагаешься, - спокойно добил ее Санька.

- Ха! - сильно обрадовалась Заграница. - Живешь ты, Дымов, как свинья, а думаешь, что страдаешь внутренне... А-а-а, что с тобой разговаривать! Члены вашей партии давно просекли - что к чему... Страдания твои, Дымов, впереди, да вот не предупредили тебя об этом, парень! Не велик прыщ, видать... Впереди! Попомни мои слова, Дымов! Попомни...

Лязнуло железо по камням, что-то загромыхало. "Эй!" - послышался голос. "Э-э-й!"

Дымов разлепил глаза и тревожно оглянулся. На самом верху Денисьев пытался что-то перевалить через бугор.

- Эй! Гляди чего нашел! - крикнул вниз Денисьев. - Подсоби!

Санька взлетел по склону и увидел то, что, отдуваясь, пер Денисьев. Это было ржавое и кое-где поломанное гинекологическое кресло.

- Вертолет! - значительно поделился Денисьев. - Давай, берись!

Санька послушно ухватился за железяки, и они боком потащили кресло вниз.

- И на кой? - отдышавшись, полюбоществовал Дымов.

- Всё веселей! - беспечно махнул Денисьев. Он подолбал каблук сапога землю, поровней пристроил свою находку и взгромоздил рыхлое тело на "вертолет". Развалившись, блаженно закрыл глаза.

- Кайф... - убежденно поделился он с Дымовым, который завалился опять на бушлат и особенно равнодушно принялся смотреть на Денисьева. Зудящая зависть к чужой легкости общения с жизнью копошилась внутри. "Не умею жить, когда меня не любят", - печально признался самому себе Санька и неожиданно спросил:

- Слышь, Тухлый... Был бы ты Генеральный секретарь, чего б ты сделал?

- Пенсию бы ввел от восемнадцати до сорока, - не удивляясь, с ходу выдал Денисьев с высоты своего "вертолета". - Упосля можно и работать. Все равно никакого толку. Годочки-то - тя-тя... Много бы хороших дел сделал! - втянулся он в понравившийся разговор. - Памятник себе на родине, конечно! Ну и всякое такое... Пивко чтоб, круглосуточно...

- А библию ты читал? - решил не отставать от него Дымов.

- Я устав гарнизонной службы читал. С тех пор мне ни одна библия не страшна... Я тогда, помнится, второй... или третий раз сел. Шинель подстриг, ну, чтоб покороче... а то, как ковер-самолет. Ты знаешь, сколько вlepили? "Пока шинель не вырастет!" Хохмачи, маму их... Что же жрать-то не везут?

- Солдатики, а солдатики, - неожиданно раздался с бугра хрипловатый, будто простуженный голос. Невысокая женщина со смытыми расстоянием возрастом и лицом скучно переминала землю туфлями, придерживая сползавшую черную телогрейку внакидку. - Солдатики, закурить не найдется?

- Кобелирует, - вывернув шею, опытным глазом тут же определил Денисьев и махнул призывно: - Найдется!

"В мире появился третий..." - о чем-то не до конца подумал Дымов, сощурившись, наблюдая, как по грязному склону осторожно спускается незнакомая женщина. На середине склона незнакомка поскользнулась, и из глубинных закровов телогрейки что-то вывалилось.

- Пузырь! - моментально навскидку определил зоркий Денисьев. Ленивое растопленное состояние тут же улетучилось из его организма, и он громко, по-рыночному щедро добавил:

- Женщина! С вас что-то выпало!

Незнакомка равнодушно подняла бутылку и отерла ее порожним рукавом.

Спустилась, угостилась санькиной мятой сигаретой и с хрипотцой, неприученно отозвалась на доброту:

- Спасибо, солдатики.

- Да что там... - отмахнулся Дымов, стеснительно поглядывая на женщину.

Но с кряхтением сполз со своего кресла Денисьев и тонко поразмышлял вслух:

- "Спасибо" в стакан не нальешь...

Дымов покраснел и почувствовал внутри неудобство. Опыт его общения с женщинами, весь, в сущности, книжный, предполагал иную, возвышенную тональность знакомства. Но вглядываясь в чужое, тронутое жизнью лицо, Санька прикинул, что молчать гораздо проще, и, подарив Денисьеву свободу, с легкостью растоптал внутреннее неудобство. "Должно быть, майорша", - подумал Дымов. Но толстокожий, не любивший деликатного Денисьев с воловьим упрямством торил свою тропу к заветному, и потому презирал психологию.

- Ох, не нальешь "спасибо" в стакан, ох, не нальешь... - гадким голосом посетовал он на судьбу.

- А посуда-то есть? - вдруг запросто спросила женщина.

Денисьев помахал крыльями за спиной, пробурчил что-то радостное, и мухой построчил к свинарнику за кружкой. Он оторвал ее от бачка вместе с цепочкой и, мигом вернувшись, простодушно замер с отставшими

от лица губами. Спохвятился, поколупался, наводя санитарию пальцем в кружку, и снова почтительно замер.

Поползла из кармана черной телогрейки бутылка. "Спирт питьевой", - прочел Дымов на грязной этикетке и зябко поежился.

Не выпуская из рук кружки, Денисьев зубами отгрыз сургучовую пробку, принялся настороженно, наслаждаясь, закатывая глаза, и, набулькав чуток, протянул женщине. Та неопределенно покачала головой, выудила из кармана горстку мелких сухариков, несколько облепленных крошками карамелек, высыпала все это на изнанку разложенного бушлата и сама примостилась сбоку.

Денисьев расценил неопределенность как отказ, одобрил значительно, набульнул в кружку щедрее и сказал тост:

- Чтобы елось и пилось, чтоб хотелось и могло! Чтобы всюду и везде было с кем и было где!

Обвел кружкой мировое пространство и, запрокинув к небу голову, привычно слил спирт в подготовленное губами отверстие. Погоревал лицом, продулся наскоро и, как дегустатор высшей квалификации, с чувством перебрал и оценил ингредиенты:

- Кайф! Как бог босичком по жилочкам...

Заботливо оглядел рыхлое тело и плеснул спирта для Дымова. Тот, скукоженный и робкий, нюхнул кружку, глупо заулыбался: "Со свиданьем..." - попереминался на краю пропасти и, выдохнув, шагнул.

Густая кипящая плазма обметала сухим морозом губы, небо, гортань, накрыла с головой и начала запечатывать мозг. Лишаясь собственной слабости жизни, от ощущений хлопая слезившимися вмиг глазенками, Санька кинулся слепыми руками лихорадочно шарить по бушлату сухарики. В желудке тут же принялась разлагаться под действием спирта утренняя перловка - секретное химическое оружие работников тыла, именуемое по всем гарнизонам державы "дробь 16" - на которую обычный желудочный сок не действует. Неуправляемая термоядерная реакция попыталась было вернуть заглоченное на выход, но Санька натужился и пересилил сволочную внутреннюю природу.

Женщина, большими глазами напряженно глядевшая на Дымова, сильно икнула.

"Пожалуй, что капитанша..." - пришибленным сознанием вернулся в мир Санька.

...Через малое время напротив сладко журчал многоопытный Денисьев, спуская в женское ухо, как в унитаз, ядерные казарменные анекдоты. Заходила в хохоте простодушная женщина, обнажая редкие, со взбухшими деснами, зубы. Дымов взбрыкивал, стараясь перехватить инициативу, валял для этой цели в грязи изменившего ему старика Шекспира: тот, несмотря на преклонный возраст, как бы по-английски, молча, отчаянно

сопротивлялся. Снова заходила хриплым прыском женщина, совершая телотрясения.

Дымов несколько раз вскакивал знакомиться, трогался с женщиной ладошками, через пять минут повторяя душевную процедуру.

Бесстыжее солнце кругами ходило по небу, дальние безмянные сопки становились похожими на непроснувшиеся гавайские вулканы, и дрожащий мир был вечен и прекрасен, как земля под ногами. Дымов по-свойски пинал сапогами планету, испытывая первородную, выжимавшую слезу радость. Хотелось брататься с кем-нибудь, было жалко, что не шли через границу угнетенные желтолицые народы...

В сухую осоку за свинарник хаживала женщина. Земля раскачивалась в первородстве, свинарник становился на ребро. Дымов перемещался охранять женщину, поглядывал остраненно, по-братски, как мочилась она, сидя на корточках, пыжился многозначительностью, жалел падшее существо, благодумствовал, стыдливо наслаждался желанием спасти, возвысить.

Заразы-крылья не выростали. "Пожалуй, что прапорка..." - корябало сознание худосочная дырявая реальность.

Было что-то еще, потом еще...

- Ну, как? - встретил его Денисьев.

- Да-а... - помялся Дымов. И вдруг неумело, пьяно и охотно заплакал. Сморщился мелким безутешным лицом, пригорюнился, поник ушами. Будто спущенный детский шарик опустился на бушлат.

- Чегой-то? - удивился Денисьев и непривычно забеспокоился: - Не дала, что ли?!

Дымов пошлепал губами, похлопал помороженным носом и потер кулаками глаза.

- Я ее... тяну... - удивленно выговорил он, - а она... она сухарь жует...

- Ну и что? - осерчал своему непониманию Денисьев. - Ну и что?

- Ничего! - озлобляясь выговорил Дымов. - Такая она... первая моя... - и вздохнул обреченно: - Я - ее, а она... Она - сухарь жует!

- Так ты... целяк, что ли? - поразился Денисьев. - Вот-те раз, не болит, а красный! Вот-те раз... - силился осознать он загадочный феномен. - Надо выпить! - отыскал его неподатливый ум спасительный выход.

Остатки спирта, от щедроты душевной набульканные Денисьевым, сделали темноту в оживавших было санькиных мозгах непроницаемой.

Дымов встал тяжело, поискал глазами вражеский дзот или танк, покачался с минуту и заявил:

- Всё! Пойду кончусь!

Не любивший непонятого Денисьев без напряга согласился:

- И то дело...

Санька отцепил от ремня штык-нож, боком пошел к стене свинарника

и начал там впахивать рукоятку между бревнышек. Приладили кинуться на торчащее лезвие и огляделся попрощаться.

Паршивая, изъеденная оврагами земля, обделенная растительностью и человеческим участием, по-прежнему простиралась вокруг.

"Прощай, зараза, насовсем! - нечутко отнесся к земле Санька. - Не было ничего, ничего и не будет!"

Он слабыми ногами отсчитал десяток метров и прицелился. Потом повернулся к восседавшему вновь на "вертолете" и переживавшему интерес Денисьеву, сказал ему: "Будь здоров, Тухлый", - и начал разбегаться.

...С четвертого раза тоже не получилось. Санька или не добежал до свинарника, соскальзывая и падая в щедрое навозное покрытие земли, или не попадал в торчавшее из стены лезвие, гулко стучаясь головой о бревно.

Когда наверху заурчал штабной газик, уваженный Дымов мертво сидел под стеной и тупо глядел в пространство.

Из газика выскочил блестящий на солнце сапогами и портупеей, дежурный по окрестному гарнизону старлей, отряхнулся по-куриному и легко сбегал вниз. Он опытным глазом обвел геройских, пьянее грязи, бойцов, оценил "вертолет", поморщился на закуску и весело спросил:

- Гуляем?!

- Кто-о-о? Я-а-а?! - сильно обиделся Денисьев. - Да нехай меня скоротит на сторону, ежели я трошки выпил!

- Гы-гы... - порадовался старлей. - Чего уж там... Собирайтесь, поедем.

- Сколько? - сразу спросил Денисьев.

- Чего уж там... По полной! По пятнадцать суток, железно! Чего уж там...

- Не-е, мне надо семь, - не соглашался Денисьев. - Штоб ровно! Не больше - не меньше...

Дежурный ничего не ответил, выкачал из стены свинарника зажатый штык-нож, усмехнулся на скрюченно сидящего Саньку Дымова, задумчиво похлопал лезвием по ладонке и приужимисто пошагал к урчащему наверху газика.

Дымов с Денисьевым обреченно покаробкались следом.

Конопатый водила злобно, но молча оглядел их, беспокоясь за сиденья.

- А зазря ты не кончился... - благодушно шепнул в машине Дымову уже почти трезвый Денисьев. - Верняк толкую: зазря!

Санька равнодушно пожевал губами воздух и поднял на Денисьева мутные, пустые от жизни глаза.

- Чего это?

- Того... Такие как ты - все равно... Не про вас наша жизнь...

- Ваша? - устало озлобился Санька.

Денисьев хохотнул беззвучно, сделал "козу" в подрагивающий затылок сидящего впереди старлея и, довольный, откинулся на сиденье.

- Так-то вот, братец кролик, прикрыв глаза прилоткой и устраиваясь поудобнее, добавил он. - Товарищ по разуму... Так-то вот! Не по пути нам с вами, тонконогими! Хотя и жалко...

Газик, раскачиваясь, как на волнах, тяжело выбрался на дорогу, и никто из сидевших в нем не заметил, как внизу, в пыльной прошлогодней осоке, тихо заплакала безымянная женщина от не до конца осознанной боли, бессильная изменить свою жизнь.

- В комендатуру! - взглянув на часы, коротко бросил шоферу простоватый с лица и строгий с затылка легконогий старший лейтенант.

О Ж И Д А Н И Е

В комнате вспыхивает тусклая лампочка под желтым матерчатым абжуром, и слабое утро за окном опять превращается в ночь.

- Просыпайся, - тихонько трясет меня за плечо мама. - Пора, - и уходит на кухню.

Но я уже не сплю. Еще раньше меня разбудила бабка. Ее невнятное шамкающее бормотание я слышу по утрам уже тысячу лет. Она тяжело стоит на коленях в углу и монотонно, на одной глухой ноте цедит непонятные слова, а мужик на иконке под стеклом равнодушно слушает ее.

Я валяюсь на продавленной бабкиной постели, над которой маятся ходики, и внимательно смотрю, как по затертой стене, среди пятен от своих погибших собратьев, ползет задумчивый клоп. Пальцем я останавливаю бег его жизни и осторожно просовываю руку в щель за кроватью. Медленно, чтоб не заметила бабка, вытаскиваю оттуда обвалянную в пыли трубочку из сухого стебля конского щавеля и кусок синего пластилина. Не спеша скатываю крошечный шарик, мусолю его во рту и, тщательно прицелившись, выстреливаю. Бабка моя слепая, что курица, и не видит, как я попадаю мужику на иконке прямо в глаз.

Опять входит мама с кухни, и я прячу свое оружие.

- Странно, - говорит она, - апрель, а снегу полным-полно. В Москве уже подтаяло, а у нас и не начиналось. Странно..

В руках у мамы белая-белая наволочка, выстиранная накануне; эту наволочку мы всегда берем с собой.

- Мама, - говорит моя мама своей маме. - Вы бы покормили Сережку.

Но бабка, будто не слышит, продолжает свое бормотанье. Мама грустно смотрит на колдующую бабку, вздыхает беспечно и выходит из комнаты.

Я вскакиваю на кровати, мастерски делаю еще один выстрел в угол

и ору истошно:

- Бабка! Покорми сейчас же Сережку! Кому говорят!

В ответ - все то же скрипучее бормотание. Я без штанов, в короткой ночной рубашке, долго прыгаю по кровати, пока мне это не надоест.

- Бабка, - мирно интересуюсь я, - и чего ты все молишься?

Бабка скашивает на меня водянистый старческий глаз, промокивает его концом платка и, не ответив, продолжает почти беззвучно шамкать беззубым ртом.

- Бабка, а бабка, - снова интересуюсь я. - И чего у тебя зубы в стакане лежат? Выкинула бы ты их... Не нравятся они мне.

Бабка мелко крестится, но разговаривать не желает.

- Дура ты, бабка, - вздыхаю я. - Бога-то нету!

- Грех, - шамкает наконец она, - не говори так. Грех!

- Нету, нету! - радостно прыгаю я по кровати.

- Прости неразумного, - просит бабка мужика под стеклом.

- Тьфу на него! Тьфу! - радуюсь я, вывалив язык.

Бабка трудно вскидывает руки, словно пытается защитит что-то, и страдальчески смотрит на меня.

- Глупый ты... - ворочает она непослушным запекшимся языком. Потом тяжело встает, опираясь рукой о колено, и уже буднично и убежденно добавляет: - Отец твой дурак - и ты такой же.

Мне делается обидно. Отец приезжает редко и потому мне он кажется хорошим.

Перед завтраком мама наливает мне столовую ложку вонючего рыбьего жира. Я ору благим матом, выворачиваюсь, но пить все же приходится, чтобы не случилось неведомого мне рахита. Потом долго гоняю по обкусанной тарелке горячую и невкусную кашу.

Под дверь из коридора затекает музыка. Это проснулся наш сосед - одинокий, худой, но мосластый старикашка, похожий на разбойника загорелым морщинистым лицом. У соседа я иногда ворую папиросы. Он знает об этом, но не выдает меня. Я люблю бывать у него в комнате, полутемной, как пещера, таинственно запущенной и прокуренной. У него есть то, чего отродясь не было у нас. Книжки, радио и проигрыватель - огромный зеленый ящик. Иногда сосед приглашает меня к себе, жестом усаживает в единственное кресло и бережно кладет на блестящий диск пластинку. Молодо пристраивается на край заваленного книгами и бумагами письменного стола и хрипловатым голосом произносит:

- Ну-с, молодой человек, помолчим?

- Помолчим, - охотно соглашаюсь я и принимаюсь старательно слушать нудную музыку.

Больше всего мне нравится, когда заедает старая пластинка.

Зовут соседа **Забодай**. Иногда он хрипло смеется каким-то своим мыслям, заходится в натужном кашле и скороговоркой давится: "Вот, забодай тебя комар!" По утрам он читает на кухне газеты и тихо ругается, смачно и заковыристо.

Забодай входит на кухню, прижимается ладонями к горячему титану у окна и равнодушно сообщает:

- Вчера из Пехорки опять кого-то выловили...

Застывает копошащаяся у плиты мама, бабка долго крестится и вздыхает:

- Люди, люди... Что творят!

Мне становится смешно. Вроде зима еще, а он в воде плавает.

Мама говорит, что в бабке моей течет польская кровь, и потому слова она произносит совсем по-другому. "Людзи, людзи..." - получается у нее. Мне нравится, как она говорит и то, что в ней течет необычная кровь. Я и сам иногда говорю как-то странно, но одергиваю себя, чтобы не выделяться. В школе и особенно во дворе.

И бог у бабки не такой как у всех, "Иезус" называется.

- Что творят! - снова говорит бабка. И, повернувшись ко мне: - А ты - дурак! Ешь быстрее!

- Отец мой дурак, и я такой же, - весело и охотно соглашаюсь я.

- Это что еще такое? - не очень серьезно возмущается мама.

Я молчу. Не мужское это занятие - объясняться с женщинами. У нас во дворе только у рыжего Валерки отец постоянный. Его за это не уважают.

- Давайте талоны, мама, - говорит моя мама.

Забодай раскладывает на клеенке газету и, низко склонившись над ней, водит по строчкам носом, порой заваливая голову набок, как петух. Маленькая розовая лысинка блестит меж седеньких волосенок. Он прихватывает узловатыми пальцами очки и, уносясь куда-то мыслями, принимается тереть дужкой в ухе. От него по-старчески пахнет псиной.

Живет он в нашей квартире года три-четыре, а до этого **шлёндрал**, по бабкиным словам, в лагере. Я понимаю. И помню, как обдирали розовые бумажные полоски с его двери и терпеливо сносил несерьезные машины подзатыльники.

- Ох, Микита, Микита, - недовольно бурчит Забодай. - Америку все обгоняет... Как бы не вспучило... - и добавляет одними губами: - Рабы. Одни рабы...

На улице я терпеливо жду маму. Взъерошенные вороны, гадкие как перодактили, зябко переминаются на заборе и на голых изломленных ветках березы под нашими окнами. Высокую, раскидистую березу эту посадили десять лет назад в день свадьбы мои отец и мать. Единственное, не считая меня, чем отметили они этот день.

Иногда птицы поодиночке бесшумно снимаются с дерева и, спланировав, вцепляются когтями в щербатые бревна нашего дома. Они без надобности выклеивают из пазов между бревен трухлявую паклю и сплевывают ее вниз. А старый двухэтажный дом спит, и мне кажется, что если сейчас никто не проснется, то наглые птицы выклюют всю паклю, потом примутся за бревна, и дом мой рухнет. Потому что все устали и спят, и никто не знает, как подпереть и сохранить дом.

Только у нас на втором этаже на кухне горит свет, в окне никого не видно, а на рыхлом ноздреватом снегу растекается желтое пятно, в котором одиноко маячу я. Ни людей, ни звуков, ни запахов.

Бабка засунула меня в тяжелое длинное пальто, а на голову, поверх круглой ободранной шапки, повязала еще и платок, наподобие башлыка пропустив его подмышками и затянув узлом на спине.

Робко начинает светать и пожухлый снег кажется голубым. Оплывшие под дневным теплом края сугробов под утро прихватило морозом, но ощущение весны все равно висит в воздухе. Воздух настолько густой и упругий, что, кажется, его можно потрогать руками. Я тревожно и удивленно прислушиваюсь, как всхлипывает где-то за лесом электричка. Прислушиваюсь, как моя крошечная жизнь вдруг заполняется неведомым мне покуда взрослым смыслом, но я чувствую этот смысл и начинаю слабо догадываться, что каждая схваченная мной минута этой весны, как и немногих предыдущих, обязательно отзовется каким-нибудь образом в моей завтрашней судьбе.

Я закладываю два пальца в рот и отчаянно свищу, сгоняя прилхлых ворон с нашей березы и нашего дома. Потом несусь в глубину двора и принимаюсь яростно доламывать взятую накануне штурмом, с кровью из носа, полуразрушенную снежную крепость. Вдруг останавливаюсь, прихватываю в рот снега, вижу, как почти одновременно загораются соседские окна, и, замерев, наблюдаю, как начинает просыпаться старый, доживающий свое дом.

То, место, где начинается моя жизнь, называется "на поселке", и я пока не знаю тоскливого и ущербного смысла этого названия:

Через двадцать лет, такой же ранней весной, вдруг не почувствовав в себе жизни, я приеду сюда, чтобы, вернувшись к началу, попытаться еще раз попробовать жить. Долго и неприлично буду стоять я под этими окнами, отстраненно вслушиваясь в себя, вылавливая обрывки мыслей и событий, когда-то значимых и важных, а другие, совсем неизвестные мне люди будут настороженно обходить меня стороной, недоуменно не находя во мне сумасшествия или похмелья.

А дом все будет стоять. Старый настолько, что себе не в радость, но еще кем-то согреваемый.

Чей-то конопатый пацан, без шапки, в расхристанном, вываленном в

снегу пальтишке, по-местному не знающий почтения к голому возрасту, солидно и запросто запустит в меня снежком с кремальер разделанной в боях дворовой снежной крепости.

Нет, я не обрету веры, не нащупаю, смысла. Просто что-то робко и неуверенно качнется внутри, как тронутый случайной рукой пыльный маятник, скрипуче и тяжело провернутся какие-то шестерни, и сдвинется с места заложенный в меня, но иссохший было, инстинкт жизни. Кто же мог знать, что именно оно, бесцветное и неуютное мое детство, вдруг подставит мне свое слабое цыплячье плечо?

И, придя в себя и оглядевшись с театральной опаской, к великому удовольствию конопатого незнакомца, я забыто вложу пальцы в рот и разбойным свистом сгоню облепившее высоченную березу глупое взерошенное воронье.

Тонкой песчаной струйкой перетекает во мне время. Я стою, задрвав кверху глупое и тревожное лицо. И жду. Жду свою несмысленную маму, которая еще не знает, что живем мы не так, как надо, а знание "как надо" приходит, когда сил уже нет, когда нет и времени для самой жизни... Жду и мучаюсь неумением предостеречь ее. Жду своих собственных крошечных детей, прогоняя через себя все грозящие им опасности, стараюсь предупредить, подставиться вместо них... И чудовищная беспомощность начинает раздавливать меня. Хочется застонать, но и стонать я еще не умею, а умею лишь обо всем догадываться.

Слишком рано я начал искать смысл своей жизни, не разумея того, что не имея прошлого, на которое можно было бы опереться, я неминуемо сломаюсь.

Один только старый наш сосед понимает, что все мы живем неправильно, с мучительным надрывом, без близкой и понятной радости. Живем, откладывая на потом возможное счастье, которое не доживает до "потом", не дотягивает, а растворяется и исчезает, никем не прочувствованное и оттого не переданное по цепочке. А сосед знает, что все не так, и ничегошеньки не говорит об этом людям, только ругается и обзывает всех рабами. Он не верит, что мы пойдем, я пойму? Или он не хочет опять **шлендрать**? Тогда остается прозреть мне, прозреть и заглянуть в наше завтрашнее неблагополучие...

Выбегает из подъезда мама, легкая, молодая.

- Ну что, кавалер, пойдём? - обнимает она меня.

Незаметно наступит утро, когда она станет другой. Уставшей, больной, раздражительной. И совсем одинокой. Я буду напрасно пытаться помочь ей выпрямиться, неумелые мои попытки окажутся бесполезными. Она уже будет раздавленной и смирившейся с тем, что предложит ей жизнь, она согласится с этим, оттого, что сил у нее больше не останется.

Но самое страшное, что она сама перестанет понимать, что несчастлива. И у меня не будет права переубеждать ее в этом. Да и занят я буду, в основном, своей собственной жизнью, в которой все меньше и меньше будет оставаться места для надежд. Буду продираться через нагромождения неудач и неприятностей, которые, в конце концов, испортят мне характер и вымотают душу. Я буду учиться не впускать в себя чужие беды.

Сейчас еще не поздно изменить все и в моей, и в маминной жизни. Наверное, надо упросить маму простить отца... Перетерпеть, быть может, перешагнуть... Но откуда мне знать, что это так необходимо...

- Пойдем? - легко говорит мама. Она пока еще выше меня ростом, но я понимаю, что меня берут для охраны. На наших страшных, заваленных снегом улочках, среди заброшенных, выстуженных зимой дач, порой погуливают придурки с жуткими идиотскими улыбочками и обязательным ножом в кармане. Такой же нож, выменянный на ворованные соседские папиросы, оттягивает и мой карман, потому что я - плоть от плоти малаховский парень, и только неведомое чудо способно в будущем уберечь меня от **ходки**. Я знаю здесь малейшую дыру в любом заборе, каждое дерево. Знаю, как вскрывать ларечки на станции, знаю, что для неравной драки нет ничего лучше велосипедной цепи... Много чего знаю, о чем лучше не догадываться моей маме. Знаю и многих этих **весельчаков**, и пока всерьез ничего не боюсь.

Мы с мамой шагаем друг за другом по узкой, натоптанной в снегу тропочке, впереди я, сзади мама, и слушаем, как отскакивает от глухих заборов звук наших шагов. Жизнь вымирает здесь с наступлением холодов. Дачи стоят заколоченные, неуютные, в сугробах по самые крыши.

Зато летом здесь играет музыка, в гамаках качаются ленивые, уверенные в себе люди, по вечерам на верандах играют в лото, пьют чай, а на станцию, на рынок ездят за продуктами на велосипедах переспелые, как говорит бабка, дамочки. Надменные дачные дети сиротски и опасливо поглядывают на нас из-за своих заборов, потому что плохо бывает тому, кого нам удастся поймать где-нибудь на улице.

А начиная с осени - и малаховские, и красковские, и томилинские дачи становятся нашей добычей. Все, кроме булганинской. Ее охраняет брыластый валеркин отец и какие-то мордатые мужики с пистолетами. На ночь они выпускают из сарая трех огромных кавказцев со свалывшейся дикой шерстью, а сами запираются в огромном доме.

Забодай говорит, что они боятся сами себя. Хозяин приезжает редко.

Наш с мамой путь лежит на Горки. Мимо моей кирпичной одноэтажной школы, где на завтрак нам дают смазанный сгущенкой хлеб и кружку жидкого невкусного кофе. А за это заставляют учить стихи про бедного индийского кули...

По едва намеченной в снегу тропинке мы осторожно спускаемся к берегу Пехорки. Еще держится кое-где надкусанный по краям слабый ломкий лед, а середина вертлявой речушки давно черна и свободна. Я старательно вглядываюсь в неопределенную глубину, пытаюсь разглядеть какую-нибудь руку или ногу, а мама ежится и старается не смотреть в воду.

Вскоре начинается крутой подъем в гору, где над обрывом нависают все те же темные покинутые дачи. Но уже почти рассвело, и идти нам не так страшно.

Наконец, подходим к обитой жестью и выкрашенной в ядовитый синий цвет палатке. По всему фасаду она переkreщена могучими железными засовами и обвешана огромными замками. Под козырьком болтается уже ненужная и непонятно как выжившая в наших местах лампочка со ржавым колпаком. Возле палатки стоит молчком пока еще не длинная очередь, состоящая в основном из женщин. Кто спит стоя, по привычке, кто отрешенно и устало смотрит перед собой. Мы с мамой идем в конец этой очереди и начинаем ждать. Ждать — это наша работа. Ждать я уже привык и ничего другого делать, кажется, не умею.

Двадцать лет спустя я попытаюсь опомниться, возмутиться собой, рванусь крушить и перекраивать себя, и с ужасом обнаружу молчаливое насмешливое сочувствие окружающих меня соплеменников. Я буду по-собачьи заглядывать в глаза близких и совсем не близких мне людей, в надежде разглядеть там такую же неясную, подтачивающую изнутри тоску, вслед за которой приходит неминуемый разрушающий взрыв человеческого достоинства, и отступлюсь, не найдя ничего, кроме вечного, уже подожного веселья.

Встреченный мной случайно Валерка, такой же брыластый и недосягаемо уверенный, как и его отец, станет покровительственно хлопать меня по плечу и, за водкой в подвернушемся кабаке, будет походя учить меня жизни. Будет тайком, по-мальчишески похвалиться тяжелым матовым пистолетом и профессионально-скользко рассказывать про **своего хозяина** стыдные подробности. Потом неожиданно всунет мне в карман деньги, много денег, чтобы я смог продержаться хоть какое-то время, а я, тоскливо понимая, что это — **отмазка**, содрогаясь от собственного ничтожества, молча приму их.

В ночном промерзшем парке, один среди стылого города, я буду давиться блевотиной и слезами, беспомощно и пьяно сожалеть, что упустил человека, у которого, быть может, нашелся бы один-единственный неучтенный патрон...

Кто же это одаривает нас верой в исключительность нашего предназначения и лукаво забывает показать дорогу к этому состоянию? Уж не бабкин ли "Йезус"?

Мальчик, который старательно протирает рыхлым снегом катафоты

подъехавшего фургона, неожиданно оборачивается и недоуменно встречается с тревожными глазами юной и тоненькой ждущей своей мамы. Она перебивает себя и слабо улыбается ему.

Круглая, как мяч, продавщица, закутанная поверх телогрейки в белый халат, выкатывается из кабины фургона, равнодушно оглядывает притихшую очередь и начинает лениво возиться с засовами. На маленькой голове у нее высокая серая шапка, поминутно съезжающая на глаза, и мне она напоминает кирасира, нарисованного в "Одиссее капитана Блада", которую давал мне читать Забодай. Скинув засовы, продавщица распахивает грязно-синие щиты, прикрывавшие оконце-прилавок, и только после этого вскрывает жестяную дверцу в боковой стене палатки. Она зажигает внутри свет, включает на полную громкость радио и, высунувшись в окошко, зычно орет шоферу:

- Давай!

Молодой, вертлявый, как кролик, шофер с беломориной на губе, открывает фургонное нутро и, обернувшись к очереди, напористо кричит:

- Добровольцы, вперед!

Женщины из очереди крутят головами, оглядываются назад и замечают в самом конце очереди тихого незаметного мужчину с прозрачным носом и робкими глазами. На нем длинное потертое пальто, а в руках огромный старый портфель. Мужчина теряется под нетерпеливыми женскими взглядами, опускает глаза, но вылепивший его из очереди шофер уже кричит:

- Эй, с носом! Будешь добровольцем!

Мужчина опускает портфель в снег, неуклюже сбрасывает на него пальто и, оставшись в коричневой безрукавке, суетливо подходит к машине. Он маленького роста, с тонкими волосатыми пальцами. Я стою близко и мне видно, что даже из ушей у него растут черные волосы.

Шофер сверху скидывает ему на спину мешок, и мужчина неумело принимается таскать в палатку муку.

- Будь попроще, зяма! - каждый раз, когда мужчина возвращается, весело покрикивает шофер. - Будь попроще, и люди к тебе потянутся!

Из своего окошка посмеивается продавщица, очередь подобострастно ей подхихикивает, а на всю округу рвется из динамика лихая радостная музыка.

Мешков оказывается немного, семь или восемь. Закончив работу и отряхнув с безрукавки муку, носатый мужчина нерешительно просит очередь позволить ему взять первым. Очередь секунду размышляет и вдруг начинает кричать. Я знаю, что если бы он не просил - то взял бы. Те, кто стоит ближе - не возражают, а кто подальше - зло и яростно протестуют, оттого, что муки может и не хватить. И тогда нужно будет придти завтра, а то и послезавтра... Мужчина вздыхает и покорно бредет в самый конец очереди.

Но зародившийся, прорвавший усталость скандал уже начинает жить самостоятельной жизнью; шум, хай и ругань прокатываются над головами людей из конца в конец. Кто-то под шумок попытался влезть без очереди и, сшибая снег с высоких сосен, по-над дачами покатила добротная российская матерщина. Мне становится интересно, я подхожу ближе, примериваюсь и с разбегу вклиниваюсь в галдящую бабью толпу. Получаю локтем в зубы, мутнею мозгами; толпа выстреливает меня как горошину...

Врезаться по-новой в орущее месиво я не успеваю. Неожиданно, на полуноте, словно наскочив на какое-то препятствие, замолкает ревевший динамик. Радостная музыка обрывается как-то вдруг, и наступает гнетущая тревожная тишина. Визгливый бабий ор, поперхнувшись, смолкает разом, будто по команде. Становится слышно, как с веток шлепаются сырые снежные ошметки. Люди застывают в беспокойном ожидании, словно подавившись криком, полуоткрыв рты и вытянув шеи.

Я слезываю кровь с разбитых губ и испуганно подбегаю к маме.

- Нешто **бонба**?! - истонно визжит в мертвой тишине какая-то баба.

- Тьфу на тебя! - скороговоркой грозят ей. - Типун тебе!

И тут, потусторонний металлический голос Левитана с нестерпимо долгими паузами после каждого слова, наращивая волнение, объявляет:

- Сегодня... в Советском Союзе... впервые в мире... выведен на орбиту... космический корабль... с человеком на борту!

Возвращаясь к началу своему из сумрачного леса взрослой жизни, я вижу лица этих людей. Ликующие, счастливые, не стесняющиеся слез, эти надорвавшиеся жизнью жители до сих пор видятся мне родными. Они обнимаются, целуются, поздравляют друг друга. С чем? Это - мы, это всё - мы! Это мы "впервые в мире", это один из нас, раскинув руки, летит сейчас в невзрачном сереньком весеннем небе! Мы всё можем, всё вытерпим, всё преодолеем! Потому что нет у нас другого выхода, потому что живем мы, отталкиваясь от **бонбы**... С рождения - до могилы...

- Мама, мама! - дергаю я ее руку. - Ты слышала? Мама... там космонавт, там - Гагарин, мама!

Непривычная покуда фамилия перекатывается у меня в горле. Мама вытирает слезы, улыбается и прижимает меня к себе. Но я не могу стоять на одном месте, выворачиваюсь, бегу вдоль очереди, которая уже не очередь, а бог знает что, подпрыгиваю козлом и ору: "Ура-а-а!"

Шофер, открыв дверцу и вскочив на подножку, яростно давит на клаксон и тоже неистово орет "ура".

Наверное, бабка сейчас разговаривает со своим Иезусом, и Забадай забывает, что все мы рабы. По всей стране теплеют лица, повсюду люди кричат "ура", потому что на этот раз - пронесло... И мой отец где-то сейчас кричит "ура". И, может быть, завтра он придет к нам, и станет весело и надежно. Все мы будем счастливы, наконец.

Валерий КРУПНИК

БИ - БОП - АЛУ - ЛА

Дедушка

Не глядя по сторонам, машины ехали друг за дружкой, точно все в одно место, и все второпях. У перехода, забрызганные понижу коричневыми кляксочками, от ботинок прохожих и своих собственных, скучивались люди, нетерпеливые, как будто и они - в одно место.

- Дедушка, перевести вас через дорогу?

Дедушка ничего не сказал, только видно, что подобрался, замер, как собака, вынюхивающая воздух.

- Дедушка...

- Давай, давай, доченька, - перебил дед и схватил девочку за руку не больно, но цепко. - Пошли вместе, вот умница, вот хорошая моя... - рука у деда была сухая, и пальцы - холодные.

"Надо же, - подумал Юрочка, - а то дед сам бы не переполз". Старик все что-то приговаривал, судя по гримасам, ласково; девочка переправляла его старательно и с чувством ответственности, не сводя глаз со светофорного человечка, зеленого, с растопыренными для наглядности ножками. "Надо же..." - еще раз подумал Юрочка без определенного продолжения, потому что мысли его лежали в другую сторону. Он не знал - в какую, но точно - не в эту. Ему и незачем было знать всякое-такое - у него все в порядке. Идет, дышит, и нос не забит, многолюдье тоской не давит, беспричинная грусть не тревожит, ни изжоги, ни отрыжки. Перейдет улицу, потом еще одну, войдет в сквер, и машина из-за поворота не собьет его. Хотя труда бы не составило: поддать газа и бросить вперед метров на десять-пятнадцать, а там наползти юзом, как бы замешкавшись с тормозом. Потом выскочить из кабины бледному-холодно-потному и закрыть лицо руками. В сквере, где скейтисты восьмерку пишат, огибая памятник поэту, наклоняясь к земле под сорок пять градусов, Юрочка встретится с Толиком. У него тоже все в порядке, и еще жена, красивая девушка в модном пиджаке "поперек-себя-шире". Если Толик вдруг разведется, Юрочка сам потом поживет с ней, если получится. А пока у него своя женщина, и ему хватает, но хотелось бы...

- Привет! - скажет Толик.

- Привет! - скажет Юрочка.

Оби - весело, хотя день стоял слякотный, и уже упоминалось о кляксочках. Скажут, потом разговор заведут и пойдут на роликовых досках кататься, восьмерки делать и другие сложные фигуры.

- Не слышал, что у Вовчика?

- Не, не слышал, а что у него?

Девочка старалась не отставать от остальных и тревожилась за зеленого человечка: мигнет и погаснет, а они еще до тротуара не добрались. А дед не заботился; кривлялся и гонял кадык по веревочной шее.

Что у Вовчика

Оба молодых человека сели на лавочку с выщербленной доской. Толик положил ногу на ногу, и Юрочка хотел было, но, увидев, что друг опередил, вместо того откинулся на спинку, распростал по ней руки и задрал голову. И ничего, о чем бы стоило написать, не увидел. Только бледно-сизое небо с поволокой тумана, как глаза во время любви или раннее, с недосыпу утро, когда рыбаки выбредают из дому, хмурые, с нечищенными зубами и брезентово-зелеными лицами. Молодые люди молчали, они пришли кататься на скейтах и отдыхали покуда, точно купальщики, что войдут в воду по щиколотку и стоят, переговариваются, греются на солнце, разминают руки круговыми махами, разогревают поясницу наклонами, заходят поглубже, по самые икры, а потом, вдруг передумав, возвращаются на подстилку почитать истрепанный библиотечный журнал с заворачивающейся по углам обложкой или задумаются, бессмысленно глядя, куда подальше; а то перевернутся на спину, прикроют глаза, нащупают кнопочку на магнитофоне и все.

- Слушай, - задумался Толик, - чего бы такого сделать, а?

Юрочка скосил глаза и уголком рта обозначил снисходительную улыбку, произвольно положив-таки ногу на ногу, чтобы покачивать ею. У него была умная низкооплачиваемая работа, которой Юрочка тихо, но твердо гордился, сам не замечая, до чего же твердо.

- Смотри, вон, кажется, ничего пошла, - за чугунно-ажурной оградой сквера среди прочих прохожих шли девушки, модные, на себя не похожие, а похожие друг на дружку. Точно рыбки в аквариуме: все пестренькие, полосатые в точечках; все такие разные, но все пестренькие, - "я бы ей отдался", - Толик дважды одобрительно кивнул головой, положил на девушку глаз и не снимал, пока та не прошла. Юрочка во второй раз смерил его косым взглядом и профилактически, чтобы не развилось косоглазие, загнал зрачки в противоположные углы глаз. Он подумал про жену Толика, удивительно красивую девушку, ему сделалось сладенько и тоскливо.

- Без меня тебе, любимый мой... - решил напевать Толик, и Юрочка, обозначая "невтерпеж", поднял-воздел глаза к небу, но там, как и раньше, было пусто, только серые круги возникали, плыли, растворялись, замыкались в большие - это такая особенность зрения, если долго всматриваться в ничто.

- Па-ра-ра-ра, па-ра-ра-ра-рай...

Скучливо зевнув, Юрочка совсем отвернулся от приятеля и увидел его жену. "Оф, тюф-тюф, и не фига себе!" - вспомнил он чье-то нелепое восклицание, когда-то давно и упрямо засевшее в памяти. "Оф, тюф-тюф..." И, встав перед Толиком, стараясь телом заслонить ему вид на жену, стал понукать:

- Ну все, посидели. Попилили, давай! - и ткнул в ноги роликовую доску.

- Ты чего встрепенулся? Попилили, так попилили, - согласился друг.

- Ну, давай, я - потом!

- А чего ты потом, давай вместе!

- Ладно, ты сначала, я скоро тоже... догоню.

- О-па! - Толик вскочил на скейт, балансируя руками и бедрами. - Би-боп-алу-ла! - напевал он, набирая виражами скорость и сплавляясь вниз по дорожке. - Би-боп-алу-ла, - напевал он, чтоб веселее было сплавляться вниз, где по сторонам - деревья, кусты, да памятник поэту с прядью на лоб. Где дети, бегające вокруг постамента, надежно-прямоугольного, на котором не одного поэта можно было бы... а многих. И те двое мальчиков в ярких нездешних комбинезончиках, на белозубых - улыбка негра - молниях; запыхались, забегались, один другого кулачком по лбу ткнул, насупившись и раздув щечки, малиново-румяные, сочные. Ткнутый не обиделся, вместо того удивился, расширил сине-круглые безбровные глазенки, а с выпяченных губ от удивления слюнка побежала. Удивился и отошел искать что-нибудь, что пришло бы по его детской, с перламутровыми ноготками, руке. Нашел кусочек белого кирпичика, которым выкладывали здесь клумбы.

- Альбе-ер! Шарлю-ю! - нерусским голосом позвала женщина-иностранка.

Малыши, должно быть, два братика, должно быть, из Бельгии, позабывши себя и друг дружку, кирпич и прелую клумбу, бросились к женщине, довольные, брызжущие. И она обняла их, двух сразу, и поцеловала по очереди. Ну, а Юрочка торопился забежать вперед, к жене Толика, чтоб потом развернуться и рассеянно выйти навстречу: как бы ненароком. Та, поджав ноги, трусила верхом на свинье прямо по газону. Свинья ровно хлюпала копытцами, не оглядываясь по сторонам, правда, задними иногда оскальзывалась по раскисшей глине. Но и Юрочка тоже скользил, поторавливался.

- Хо! Привет, ты чего здесь? - перебросив ногу, жена Толика поднялась со свиньи, стройненькая, с выпуклостями и ресницами веером. Юрочка окаменел в своей раскованной позе: ладони наполовину в карманах джинсов, большие пальцы наружу, локти оттопырены, нога отставлена, а голова наклонена слегка, в знак внимания, снисходительного внимания; смотрит вдоль улицы в сужающуюся перспективу, самым краешком глаза

задевая стоящую перед ним девушку.

- Привет, а чего верхом?

- Не знаю. Не видел Тольку?

- А свинья?

- Да вот решила прокатиться. Ты куда сам-то?

- Неудобно сидеть, наверное, ноги низко... Я просто шел тут по одному делу, встретиться там с одним нужно, деловая встреча... Надо там одно дело решить... А ты куда едешь? Купить чего-нибудь?

- Не, просто вижу, кабан бежит, прямо на меня прет. Я - хлоп сверху и поскакала. А он ничего, хороший. Только тряско, и щетина колкая. И неприятно - под кожей одно сало чувствуется, хочешь потрогать?

- Хочу.

- А здесь хочешь потрогать?

- Хочу.

Итальянский концерн Гамбетта продал в Москву на мясокомбинат в Кузьминках линию-автомат, сосисочную, с компьютерным управлением. От живой свиньи - до сосисок в целлофановой упаковке, по пяти штук в пачке. В торговую сеть они поступили под названием "порционные" и ненадолго. Предпоследняя пачка была раскуплена в тот же день, как линия встала; последнюю же так никто и не взял: при транспортировке или вследствие каких-то иных причин случилась в ней недостача двух сосисок, три оставшиеся лежали рыхло и болтались, как бог на душу... Сосисок было уже прилично съедено, когда в один прекрасный момент (прекрасный - это для словца говорится, а так - просто), в один момент линия щелкнула где-то внутри себя и без рывков встала. Сделалось тихо, прохладно, как в теньке во время жары. Натекло начальство, сгрудились животы и галстуками навывпуск; кто повыше в должности - в воздух бьют или гундосят: от каждого по способностям; мелкие - конфиденциально шепчутся, перемигиваются умно и ехидно. Инженеры прохаживаются, кнопки нажимают с видом независимости в осанке и недоступности в лице.

- Тихо! Щелкает что-то!

Все, кто был, замерли, прислушиваясь, оттопырив одно ухо локатором, а Виталий Гладких руки за спину сунул. Привычка еще с детства укоренилась, заусенцы грызть. Дома, например, сидит в кресле, ногти обрезает, а заусенцы непременно зубами скусывает - оно вкуснее ему и приятней.

- Ненавижу! Ненавижу эту твою манеру! - кричала жена, захлебываясь и бросая его, забирая с собой дочку и кой-какие барахло, мебелишку. - Ты противен мне, противен! - вопила при дочке, и до того истощено, будто с ней невеста что делали или даже - спорили. "Ты мне, может, уже давно опротивела: может еще больше, чем я тебе. Я ж молчу?" -

великодушно тая обиду, молчал Виталий Геннадиевич. Пока же от него жена уходила; уезжала вместе с дочкой жить к маме, на другую станцию метро, дальше от центра, зато метро рядом, и через дорогу - универсам.

Почему Гамбетта остановилась? Потому что была рассчитана на стандартных свиней плюс-минус. А тут пошли все, какие имелись; старики, дети - целыми семьями. Без разбора и жалости гнали их сплошным потоком в порядке очереди. Кто визжал и резвился, на ходу землю носом рыл, а кто еле на копытцах держался, влекомый товарищами, поддерживаемый их боками, умирающий своей смертью, не дождавшись процесса. Но на ленте все затихало и, подложив под себя лапки, ехали под уклон вперед головами, без рывков; и до того неторопливо, уверенно ехали, словно жизнь продолжалась и там, впереди, где заканчивалась каучуковая лента, и беззвучно вращался большой маховик, где все время что-то надоедливо пляхалось. И оттуда накатывала отчаянная тоска, неизбывная от своей непонятности. Вместе они, тоска и уверенность, сдавливали зачастившее вдруг сердце, и оно заходило от страха, цепенело, и ни гу-гу... Кровь застывала, обвисали легкие, и раздвигались зрачки до границы радужек. В них, как в пробоины, било-захлестывало белое море света, затопляя все окончательным пустым мраком. И автотесак начинал процесс переработки свинины. Гамбетта замерла на полуслове и иссякла сосисками. Хрюшки посидели, подождали немного, видят - долгая канитель, повскакивали и, стараясь не привлечь внимания, одна за другой утекли из цеха; только самая первая по ходу ленты, надрезанная, осталась агонизировать. Там, во дворе перед цехом...

Там, во дворе перед цехом - ни деревца, ни кустарничка - голый асфальт, изношенный, с вмятинами, где застаивается вода и цветет мазутная радуга; редкие люди и автокары перебегают от здания к зданию, из двери в дверь, точно от дождя; и большая неунывающая куча опилок желтым пахучим стогом - посередине. И чего только не находили время от времени в этой куче! И все криминальное, полуразложившееся уже; и всегда миллионеры, синенькие, чистенькие, с бестолковыми, но любопытными овчарками. А, впрочем, овчарки как овчарки, зря мы на них, да и миллионеры... И один поросенок, как выбежал от Гамбетты, в кучу зарылся и затих там. Остальные столпились возле. Старый резвый кабан с черными пятнами по спине и брюху, с наполовину заплывшими, наполовину заросшими глазками, сказал речь, негромкую, чтоб не привлечь внимания. Затем разделил всех на два отряда, первый повел сам, во главе второго поставил своего сына, совсем еще кабанчика, песочного цвета с нежным и гладким рылом. Пробиваться решили через разные проходные.

- С богом, сынок!

- Прощай, отец! - уткнулись пятачками в плечо друг другу.

Старый кабан развернул в каре свой отряд и тяжелой рысцой повел на прорыв. Увидев решительно склоненное рыло клыками наружу, вахтерша

не стала требовать пропуск, лишь подобрала ноги на свой вахтерский диван и спросила: "Вы куда собрались?" А когда пробежали последние, заорала вдогонку: "Обратно ни одного без пропуска не пущу!" – и уже тихо, сама с собой: "Ишь, наладились, окорока, как будто так и надо!" Пятнистый отвел свиней в лесок, жидкий осинничек напротив комбината, утопанный, лысый и пыльный.

– Дальше пойдете сами. По двое, по трое. Держитесь железных дорог и пробивайтесь за город. Заметят – принимайтесь рыть землю, будто посетесь; ни в коем случае не бежать! Идите и помните: лучше жить на свободе, чем умереть на коленях! Мы еще вдохнем сладкий воздух родного хлева, мы еще...

Сам пятнистый остался задержать погоню, вышел на середину дороги, уши – торчком, и набычился, хотя с коровами – ничего общего.

Долго-таки с ним повозились. Подогнали фургон, настил положили (откуда что взялось?), стали подманывать, засюсюкали: "Ну, иди, ну, давай, ну... Кис-кис, ути-ути, гули-гули, ну давай, ну пошел, черт курносый!"

Пятнистый пошел, не сразу, но пошел, покладисто так, послушенько, только глазки еще больше сузил. И копытца уже поставил на досочки, как вдруг хрюкнул утробно, точно заводящийся двигатель, взвизгнул и, рванувшись в сторону, вмял того, что особенно уж старался, хлебушек все крошил, да матерился, вмял в кузов фургона. Кепочка откатилась кожаная, с пуговкой наверху, там, где у беретов петелька. Кабана тогда вилами поскорей закололи, а везде, где напачкалось – опилок посыпали.

– А здесь?

– Хочу, я везде хочу!

– А вот тут еще хочешь потрогать? Да? Скажи, какой трогательный!

– О, привет! – подошел Толик. – Свинку завели?

– Да это кто кого завел...

– Чего ж не поехал? Сказал – догонишь.

– Вот, встретил...

– Ну, а чего ж не поехал? Слушай, идем к нам! Ларка пожрать готовится, а? – Толик обхватил жену и притянул к себе. Грубо, как показало Юрочке, он сразу насупил. Но ей, наверное, было приятно, раз она еще сама прижалась, да потерлась щекой – прямо кошечка, мурлыка дымчатая; так придет и свернется на коленях, все под руку ластится, ушком чешется, не то, чтобы сама не умела чесаться – очень ласку любит.

– Правда, идем! – звала она Юрочку, выглядывая из-за мужа; глаза ее смотрели прямо и коротко, красивые и соразмерные, как передние фары мерседеса. – Идем, а кабанчика с собой возьмем.

– Это свинка, – возразил Юрочка, обиженный и хмурый.

– Ну, давай, бери свинку! – подтолкнул его Толик.

- Ну, хватай! - толкнула его и Ларочка.

- Держи! Лови! Тащи! О-па! - они по очереди пихали Юрочку в бока, плечи, спину, шею. Пихали больно, чтоб слушался. А он послушался не оттого, что больно, а глупо как-то получалось спорить, лезть в бутылку...

Подошел к свинье и опасливо обхватил ее поперек туловища; хрюшка вывернулась и отбежала, ворча животом.

- Чего пустил!

- Бери за уши!

Юрочка суетился вокруг животного, выставив далеко вперед руки и отдергивая их всякий раз, как свинья пошевелится - укусит.

- Пойдем, может?

- Ладно, брось ее.

Юрочка еще повозился, как бы по собственной инициативе, догнал друзей, и пошли к ним в гости. Свинья порылась по кустам и, не найдя ничего стоящего, тоже сошла с газона. Выбралась на дорожку и легла посреди. Дети кормят ее с ладони хлебом, но в последний момент ладошку убирают - укусит, и свинья с земли подгребают; взрослые - обходят, мало кто перешагивает.

- Да, ты что-то собирался про Вовчика.

- Что про Вовчика?

- Ну ты что-то хотел про Вовчика.

- Про Вовчика?

- Про Вовчика.

- Не думаю.

Дедушка (2)

Перешли улицу, и девочка отняла руку, но старик не пускал.

- А ты в школе учишься, да? А как тебя зовут? Катенька? Катенька моя хорошая... А меня - Юрочкой, Юрием. Что? Отчество? Ой, не помню, Катенька, старый я, совсем памяти нет. Это у тебя, наверное, память хорошая, стихов много знаешь, а у меня - нет, я уже старенький, жизнь у меня так себе, не ахти была...

- До свидания, - Катенька опять попробовала взять руку.

- Ты домой идешь? Правильно, надо, надо домой. А где живешь? О, земляки! Значит, вместе пойдем, да, Катенька? Вот как хорошо! А мама твоя где? На работе, вот как, на работе... И папа тоже? Вот умница, вот хорошая моя, дедушку пожалела. Правильно, чтоб дедушка под машину не попал, вот какая девочка...

- Всё, я пришла, я домой пойду.

- В этом доме живешь? Хороший дом, правильно. Сразу видно: Катенька в нем живет. А кто дома у Катеньки? Никого? И ключи есть, вот

какая самостоятельная девочка - ключи есть...

- А куда вы за мной-то идете?

- Я к тебе иду, доченька, в гости. Посмотреть хочу, как живет моя хорошая. Пустишь дедушку-то? А то жизнь у дедушки не удалась - посмотрю хоть, как девочка моя живет...

Катенька хотела быстренько юркнуть в дверь и захлопнуть, но старик проворно пролез в прихожую вслед за ней и разулся до носок.

- Чтоб не пачкать у Катеньки, не наследить, чистоту ей не портить, девочке моей сладкой. У вас так чистенько все, аккуратненько. Сама убираешься? Мама? Какая у тебя хорошая мама. Ой, и цветочки в вазочках! Папа приносит? Папа, конечно. Заботливый у вас папа. А вазочки какие красивые, я таких и не видел никогда. И табуреточки какие необычные. Пуфики? Ух ты моя умница, все знаешь, больше меня знаешь. Дедушка столько жил, а ты уже больше него... правда жизнь-то у дедушки...

Катя ушла в свою комнату и закрыла дверь, чтобы дед за ней не пошатился. А он притащился и сел на диванчик, где она спала.

- Мне уроки надо делать. Вы еще долго здесь будете?

- Ты делай, дочь, делай. Я не буду мешать - тихонечко посижу. А ты учись, учись, милая. Чтобы папу с мамой радовала, они, видишь, у тебя какие хорошие, потому и ты такая хорошая, все знаешь, больше дедушки, и вазочки-то какие красивые, я таких и не видел, а цветочки вот подвяли. Да, Катенька, подвяли немножечко? Ну ничего, ничего, папа свежие принесет, на базаре купит и принесет. А эти, может, дедушке отдаст, а? Отдаст дедушке?! У меня, может, никогда их и не было, цветов! А откуда мне их брать, воровать, что-ли?! Воровать, скажи, воровать?! Не-е-ет, сами в дерьме колупайтесь, сами, а я не буду, поняла, не буду! Вазочки у них, пуфики! А цветы - вянут!..

- Мне позвонить надо, - прошептала Катенька и мимо старика проскочила в большую комнату. Он пошел за ней, растопырив руки, чтобы в другой раз не улизнула.

- Еще как вянут! Будь здоров вянут! Скоро завянут и совсем сгниют, прямо в вазочках и сгниют!

- Алё, мам!

Дед примолк и остановился, лицо скорчил испуганное.

- Да, да, уроки делаю. Але, мам! Не, не получала; не обедала; возьму, возьму, мам! Але, ты когда придешь?

Дед заулыбался, сгорбиллся и глядел умоляюще, и ладошки сложил так же.

- Приходи, мам! Ничего, ничего, приходи скорей!

- Мамочке звонила? Правильно, чтоб не волновалась, чтоб работала спокойно. А кем твоя мама работает? О, какая у Катеньки мама! Вот и сама Катенька умница, уже больше дедушки знает... А дедушке вот не

повезло, жизнь у него не удалась, не получилась. А как ей было получить, когда все вокруг такие хорошие, умные, есть у кого получаться! Куда уж там дедушке! Это вам всё - папы-мамы, чистенько. А мне ничего, да? Это для вас, правильно, чтобы дедушке ничего, а вам всё, да? - он обиженно всхлипнул, глаза его покраснели и загноились. - Конечно, вас все любят. У вас - папы, мамы. А до дедушки никому дела нет. Старенький, одинокий, его пожалеть нужно; пожалеешь дедушку? Пожалей! Все жалуют, и ты желей! Все, все будете меня жалеть!..

- И никто не боится... - старик удивленно нахмурился и помолчал немного. - И ты, Катенька, не боишься? И ты, сладкая моя девочка, хорошая моя, смелая? - он стал подбираться к ней, выпучивая глаза и тряся головой. - Что, не боишься дедушку? Нет? Совсем? Ни капельки? Ни крошки?! Ни за понюх табаку! Ага-а-а! Ага-а-а-а-а!!!

Лицо его сплошь покрылось бордовыми жилками и посинело, а глаза уже пучились сами собой. Катенька не могла шевельнуться, потому что боялась, что от страха умрет. Дед вдруг вздохнул, как-то не во время, с присвистом, точно поперхнулся, и замер, прислушиваясь. Потом сел на пол, лег, и все пытался еще вздохнуть и не мог, только хрипел и дергался, а потом и это перестал делать.

Катенька

- Да? А, это ты, привет.

- Привет, солнышко, я звонил на работу, сказали - ты дома.

- Правильно сказали.

- А ты чего, заболела?

- Нет, с дочкой сижу. Она в школу не ходит.

- Каникулы?

- Ты что, какие каникулы. Тут ее напугали чуть не до смерти, старик какой-то сумасшедший. Несколько дней вообще не говорила, сейчас только... Но я пока все равно с ней сижу, в школу не пускаю, мало ли что...

- Надо же! Конечно, пусть дома побудет, школа это тоже сумасшедший дом.

- Ты с работы?

- Ага.

- Как делишки?

- Ничего. А... может... Я заскочу в обед? Раз ты дома сидишь?

- Зачем? Не стоит.

- Ну так, повидаться, я соскучился...

- Да нет, Фра, не надо, ничего не получится - я ж с ребенком...

- Получится! Еду?

- Не знаю даже... нет, наверное, не надо все-таки...

- Ну, пока, еду!

Он думал девочке что-нибудь принести, но торопился, и не попадалось по пути ничего подходящего. Дорогой Юрочка все томился от медлительности транспорта, а потом вдруг не заметил, как приехал - едва успел выпрыгнуть. Хотел мороженого купить, но вовремя вспомнил, что девочка болеет. Встречный ветерок окрылял его; парил, если можно так выразиться...

- Как ты быстро, на такси?

- Такси я бы до сих пор искал.

- Здравствуйте.

- А-а-а... здравствуй, дома сидишь?

- Да.

- Скучаешь?

- Нет, я с мамой.

- Катенька, нам с дядей Юрой поговорить нужно. Ты посиди, посмотри телевизор, ладно? Только к нам не заходи, не мешай, ладно? Мы недолго.

- Сейчас, - обернулась она к Юрочке, - телевизор нагреется.

Телевизор нагрелся, мама прибавила звук и ушла говорить с дядей Юрой.

- Только тихо... - говорила она, - тихонечко, ладно? Ладно, Ю... Юрочка...

Потом она молчала, смежив глаза, вся сосредоточившись на Юрочке. Он тоже весь сосредоточился на себе. Незаметно внимание у мамы как-то рассеялось, она непроизвольно стала прислушиваться к телевизору. Там Петрушка загадки загадывал:

"...А эту загадку нам, ребята, прислала Аниса Кутузова из Уфы. Очень хорошую загадку ты прислала, Аниса, спасибо тебе. А вы, ребята, слушайте: "Не человек, а рассказывает, не рубаха, а шита, не куст, а с листочками". Запомнили? Еще раз..."

- Книга, книга! - закричала Катенька в телевизор, взвизгивая от радости.

"Умница", - сладко подумала мама и нечаянно кончила. А Юрочка все продолжал сосредотачиваться...

- Па, - спросила Катенька вечером, когда отец пришел и сел на диван, - хочешь загадку?

- Нет.

- Почему-у? - Катенька подобралась под бок к отцу и трогала его щетину. Щетина всегда вызывала у нее упорное любопытство - с одной стороны, она у папы, с другой - так странно ее иметь...

- Не хочу.

- Ну па!

- Давай, давай, отгадывай, раз пришел, - вступилась мама и пристроилась к его другому боку.

- Ну, слушай, - Катенька перевалилась через папины ноги и, толкаясь, втиснулась между родителей. - Не человек, а рассказывает, не рубаха, а сшита, не куст, а с листочками. Что это?

- Не знаю.

- А ты отгадай!

- Не могу.

- Ну па!

- Дерево.

- Какое дерево! Дерево разве рассказывает? Дерево - сшито?

- Ну... блокнот.

- Ка-ако-ой блокнот?!

- С пружинкой, с отрывными листами.

- Ты что?! Блокнот - рассказывает?!

- Глупый, - вставила мама.

- Тогда сдаюсь.

- Кни-га!

Все вместе смеются. Обнимаются.

Васенька

"Странно, - думал Толик, слушая "Битлз", - почему мне так грустно?"

Подумав, переменял позу: опустил подбородок в ладони. Но от этого глаза только стали печальнее, он сам почувствовал, какие они печальные. "Может, Юрке позвонить? Придумаем что-нибудь... Точно, надо Юрику позвонить". Не вставая, он нашарил за спинкой дивана скейт и, петляя, подкатил к журнальному столику. Юрочки не было, ответила мама, говорила, что Юрочки нет, и советовала позвонить попозже, где-нибудь через час, спрашивала, как его, Толика, дела, и еще раз советовала позвонить попозже, и, вдобавок, обещала передать, что он звонил, и чтоб сын, как придет, позвонил ему, и не нужно ли еще что-нибудь передать, и снова - через час...

- Лар, сорвемся куда-нибудь?

Жена сидела в туалете и не ответила из принципа. Толик посмотрел на часы; "через час" было еще не скоро. "Кассету, что ли, переменить?" По дороге к дивану заехал за сигаретами, покружил у стола, ища зажигалку.

- Лар, зажигалку мою не видела?

Недавно биде купили голубое, румынское, а куда ставить? До сих пор не знают: продавать или что? Вроде, некуда его, а с другой стороны - жалко: у них и раковина, и унитаз, и ванна - голубые.

- Лар!

Лариса отмалчивалась и злилась, и злость не портила ее лица, а придавала его красоте оттенок дикости и некоторый рекламный лоск.

- Слышь, Лар?!

Она спустила воду, и Толик наконец догадался, да и зажигалка нашлась.

Юрочка и не думал задерживаться, но из одного дома, к которому он не имел ни отношения, ни касательства, на него вылезла старушка в серой шали и халате без многих пуговиц. Старушка вылезла, собственно, не на Юрочку, а на улицу, но он тут и попался как раз.

- С-с-сынок, - окликнула бабушка, не ежась и не дрожа всем телом, как, судя по одежке, должна была бы.

- С-с-сынок, - еще раз, для проникновенности, - какой день?

- Чего какой день? - Юрочка стоял вполоборота, к беседе не расположенный.

- Сегодня что?

- Суббота.

- Суббота, ну. А который час?

Юрочка выпростал запястье из-под рукава.

- ...Утра?

- Дня.

- Вот спасибо тебе, сынок, сразу видно - хороший человек. Как тебя звать?

- Вася.

- А моего - Виталька. Знаешь Витальку? Ну как не знаешь - Виталька Гладких! Да знаешь, конечно... Ну, Виталька, с комбината!

- С комбината? - "дешевле согласиться", понял Юрочка.

- Ну. А говорил - не знаешь. От него жена ушла, слышал?

- Слышал.

- Ну ты чудной! Не знаю, говорит, а про жену слышал.

- Про жену слышал, - строго заверил Юрочка.

- А сам теперь... - старушка оглянулась, - под следствием сидит. Как жена ушла - беспокойный такой стал, ночью в магазине витрину разбил, манекен насиловал. Все никак с ним разобраться не могут: ночью все-таки, витрину, там ведь сигнализация. Выпустят, наверное, он же не брал ничего, только куклу поломал. Штраф заплатит - выпустят. Как думаешь? Он не брал ничего...

- Вы бы в дом пошли, простудитесь!

Нос и губы у старухи посинели, она начала-таки дрожать всем телом.

- А который час? Да, да, сынок, простудиться можно, спасибо тебе, хороший ты человек, а как звать тебя? Ах, Вася! Дай бог тебе здоровья,

Васенька! Ну, пошла я, а то не дай бог...

И скрылась было в подъезде, но зацепилась шалью: гвоздик, щербина в двери - не разобрать. И долго потом возилась, отцепляя, не глядя в юрочкину сторону, забыв о нем начисто.

Толик взглянул на часы, он не знал, прошел ли уже час: забыл сколько было тогда; на всякий случай отмерил еще пятьдесят минут, чтобы с запасом.

- Лар, - жена сидела рядом, накладывала румянец с блестками и наворачивала прическу с одной стороны головы на другую, - Лар, купим ребеночка? Девочку какую-нибудь?

- Да? - выглянула Лариса одним глазком из-под прически. - А сколько дашь за девочку?

"А ну тебя, на ... ", - подумал Толик.

"Господи, как же мне скучно!" - думал он, слушая "Модерн Токинг".

Не глядя по сторонам, машины ехали друг за дружкой, как будто все в одно место.

ТВЕРДОКЛЮВАЯ ПТИЦА ГРИФ

Вероятно, мало кто слышал это сообщение, прозвучавшее недавно по первой программе телевидения. Оно было помещено в одну из утренних передач где-то после десяти часов, в минувший вторник. Желющие могут восстановить по старым газетам, что это была за передача, но насколько я помню - не "Из жизни зверей и птиц". Думаю, что и среди тех, кто по какой-либо случайности смотрел в это утро телевизор и мог слышать упомянутое объявление, не все, далеко не все заострили на нем свое внимание. Я взял выходной, чтобы посмотреть несколько старых альбомов и разобрать корреспонденцию. Сразу отмечу, что из двух выходных один у меня свободный, так называемый "скользящий". Так вот, когда я просматривал свою переписку с коллегами-филиателистами, а у меня весьма обширная переписка, поскольку моя коллекция по горной тематике - среди пяти наиболее ценных в мире... Более того, не считайте за хвастовство, она оценивается как вторая, после австрийца Натана Таффа, с которым мы, к слову сказать, большие друзья. Кстати, возможно этой осенью, ближе к зиме, я уеду в Грац, где мне удалось найти место ассистента прозектора в одной из местных клиник, и надеюсь представится случай увидеться с Натом. Хотелось бы, конечно, удивить его, какой-нибудь сделать сюрприз, вроде марки с изображением восточного хребта Вогез, выпущенной сравнительно недавно во Франции, но до сих пор не числящейся среди известных частных коллекций. Похоже, эта марка ускользнула чудом из-под бдящего ока моих соратников-соперников, либо в каталоге была допущена ошибка, пустившая меня по ложному следу, и тогда придется заявиться к

Нату Таффу с пустыми руками и протухшей новостью. Впрочем, не будем говорить "гоп" и лезть поперек батьки; поживем, сказал слепой, поглядим. За спиной работал телевизор, включенный на небольшую громкость, это мне помогает не отвлекаться, стабилизирует внимание, образно говоря, канализирует избыточную часть его центробежной энергии. И передали довольно странную информацию, что в наш город залетели две пары грифов, как предполагают специалисты, с целью гнездования. Кому не покажется или не показалось странным подобное сообщение, хочу привести краткую выдержку из энциклопедического словаря:

"Грифы, - крупные (св. 1 м. дл.) птицы отряда дневных хищников; крылья длинные, в размахе до 3 м., голова и шея - слабооперенные или голые; питаются гл. обр. падалью. Обиают в Южной Азии, Африке, Южной Европе, горах Южной Америки".

Скажу лишь, что птица с такой поверхностью крыльев в наших широтах в холодное время года не сможет поддерживать необходимую для жизнедеятельности температуру тела, а перелетными хищники не бывают. Далее говорилось, что одна из птиц разбилась о радио-антенну на юго-западной окраине города и была расклевана воронами, за двумя оставшимися ведется наблюдение.

Крысы не любят открытых пространств. Не любят - слишком антропо-морфное определение. Крысы боятся открытых пространств. И пересекают их с максимальной скоростью, на какую способны. Я видел одну из них, бежавшую ночью через широкий, шестирядный проспект; она проскочила перед самым бампером нашего такси. Глубокая ночь, машин мало, куда безопасней было ей пропустить нас и спокойно, не торопясь, достичь тротуара. Но страх, видно, сильнее опасности, он гнал животное вопреки спасительному разуму, скорее - к уютным стенам домов, канализационным люкам, надежным лабиринтам труб и родных нор, гнал под колеса автомобиля. В свете фар хорошо видна была бегущая крыса с напряженно выгнутым, приподнятым над землей хвостом. Ее лапы сливались в движении, как спицы вращающегося колеса, как будто не крыса передвигала ими, а сами лапы несли ее к противоположной панели. В городском подземелье крыса хозяйничает почти безраздельно, как ворона в городском небе. Коварный и хитрый зверь, в постоянном движении, в постоянной борьбе за господство. Страх и агрессия, переливаясь одно в другое, не оставляют пауз (разве что на сон), не позволяют остановиться и оглядеться, одуматься... Блаженны ленивые, блаженны спокойные, вялые, неторопливые и благодущные! Кто может постоять, глядя в небо или себе под ноги, почесать в затылке, да так ничего и не решить, кому утро вечера мудренее, а полдень мудренее утра, а вечер - полдня... Слава вам, великие сони - Ильи и Ильичи, богатыри Муромы и обыватели Обломовки! Обратите внимание: сидел на печи мужик, долго сидел, тридцать лет и три года от звонка до звонка, а потом как поднимется, да нальется силой невиданной

и избавит край родной от нечисти поганой и неправославной совсем. Вот тебе и сидень убогий! А как избавит - снова на печь полезет? А то и скоморохи проезжие с собой уведут, для жизни балаганной, на ярмарках, да на игрищах силу выказывать, людей забавлять, да себя тешить, сытупьяну быть, и - чтобы нос в табане. И побегут крысы, неумное плодовиное племя, обреченное не знать пауз, не вкусить покоя, не познать радости лени и удовольствия разложения, племя, коему не дано слиться с миром и первоначальным смыслом его, не дано покориться судьбе, вечно гонимое страхом небытия племя. И когда, самоуверенно переваливаясь с боку на бок, неторопкой рысью перебежит тебе дорогу жирный зверек с омерзительно голым хвостом, вызвав в тебе безотчетные брезгливость и испуг, ты не станешь его забивать камнями, ты простишь его и полюбишь, он нахален не потому, что нахал, а потому что боится. Слава вам, сидни и лежебоки, да святятся пролежни ваши во веки веков, аминь!

Грифа я не впустил, конечно. Да, он пытался влететь в мое окно, цеплялся за карниз, просовывал в форточку свою лысую голову с желтым, тяжелым и каким-то неопрятным клювом. А как он ужасно скрежетал когтями по стеклу! Я не знаю, вы выносите этот звук? Это правда - посмотреть, как он неуклюже барахтается среди наших бестолково натянутых тополей, соря перьями, точно бабочка в сачке бьется, а ведь не пердохнуть, не присесть на веточку, это какая ж веточка выдержит, хоть кого жалость возьмет. Но глаза его, вам бы видеть их, колючие, из морщинистых стариковских глазниц, цепкие и злые, змеиные глазенки, даром что гадь пернатая. Может, если бы по-хорошему как-нибудь, тогда еще можно было бы о чем-то говорить, а так вот, с кондачка, что называется, на арапа, к тому же, я очень боялся, что он мне стекло разобьет, мотанет носом, и дзынь-ля-ля, запросто. А так - можно было бы хлебушка крошить, ребятишек подбить на скворечник или там кормушку, ну... как это везде делается... Тут недавно совсем, на ассамблее в Пльзене, шла очень интересная дискуссия о сегрегации тематик в филателии. Там был и мой доклад о спорных вопросах в определении состава собственно горной темы. Ибо существует множество пограничных областей, как, скажем, изображения горных рек или прибрежных скал. В какие коллекции должно определить такие марки? Или возьмите селения, гостиницы, городки в горах, а хищные птицы, населяющие горные хребты - известная серия андских кондоров? А как быть с марками-репродукциями с картин, представляющих горные виды? В своем выступлении я предложил принцип доминирующей атрибутивности: если в изображении доминирует атрибутика данной тематики (например, горной), то марку следует включить в коллекцию этой темы. Ну, вот такой пример: Швейцарские Альпы, местечко Сен-Бернар, соответствующей породы собака. На марку с подобным изображением могут претендовать, естественно, три коллекции: "горы", "собаки" и "селения". Как же мы поступим в этом случае? Очень просто. Сравним

атрибутивную насыщенность изображения по указанным разделам, 'а именно: "собаки" - указана ли кличка, имя владельца, можно ли определить пол и т.п.; "горы" - конкретные географические детали, узнаваемость хребтов, вершин, высота над уровнем моря и т.п.; то же самое - для "селений". Разумеется, я отдаю себе отчет в том, что предложенный принцип не является абсолютным, но я совершенно уверен, что с его помощью можно, хотя бы отчасти, упорядочить филателистическую таксономию, особенно, если принципа доминирующей атрибутивности станут придерживаться и изготовители марок.

Наверное, я был не прав, не впустив птицу. Как сейчас понимаю - это ошибка. Что с того, что глаза? Глаза это отговорка. А будь у нее печальные глаза газели, я прицепился бы к чему-нибудь еще. Честно говоря, я не видал газелей, их глаз, но говорят... Сглупил, ей-же-ей, сглупил! Глупо надеяться, что когда-либо еще представится такая возможность - не то что гриф, стреляный воробей не пожалует. Нет, только свой брат-филателист, матерый марочный крот, сумеет понять меня или даже оправдать. Представьте, вы сидите за большим двухтумбовым столом, на котором разложены альбомы. Каждый из них - это книга; книга, написанная вами, и вами же читаемая и перечитываемая не раз, с наслаждением; в нее вы любовно вносите только вам ведомые исправления и добавления, никто кроме вас не сумеет так полно, до конца прочесть эту книгу. Ведь каждая марка - это не только (о чем как попугаи твердят коллекционеры всех времен и народов) история и судьба человечества, это, прежде всего, история доставания каждой марки, отрезок собственной жизни. Бывшая моя супруга ненавидела марки, а, впоследствии, и меня вместе с ними. Незадолго перед разводом я приобрел, просто так, от жадности, совершенно малоценную, расхожую марку с изображением Эвереста. Высочайшая вершина мира - на грошовой марке, а картинка приземистого холмика, бугорка может стать бесценным вкладом в коллекцию! Тривиальная эта мыслишка неисповедимым путем прочно ассоциировалась у меня с неудачным завершением семейной жизни. А тот факт, что при восхождении на Эверест гибли люди, так до конца и не уместается в моем сознании - то ли факт велик, то ли сознание маловато, не знаю. Причем, случаются иногда довольно причудливые переплетения этих двух линий судеб - персональной и общечеловеческой. Только не подумайте, что я оправдываюсь, ничуть не бывало, я лишь хочу объяснить...

Возьмем такой случай. Хуго Плёфф, известный коллекционер из Антверпена, собрал к тридцатым годам самую большую коллекцию портретов династии Габсбургов времен их владычества над Голландией. Понятно, что при столь узких рамках и небольшая коллекция может оказаться изумительно полной. Хотя, по правде говоря, непонятно, как вообще ему удалось набрать такую специализированную коллекцию. В этом, кстати, тоже талант филателиста - задать себе рамки, как мы говорим - зашориться. Разумеется, приобретение каждой очередной марки превращалось для

Плеффа в кладоискательство. И вот, к тридцать шестому году наступил момент, когда для завершения темы Хуго не доставало лишь одной, выпущенной в Экваториальной Гвинее, в бытность ее испанской колонией, марки. И он отыскал ее - марка оказалась у кастильского коллекционера Силлиса Бузинеца. Согласно дневникам Плеффа уже состоялась письменная договоренность об обмене, но случилась война. Можете представить, что это значит. Я, правда, не очень, потому как ни на войне, ни даже в армии не был. И что бы сделали мы с вами на месте Хуго Плеффа, антверпенского филателиста? "Война не вечна и кончится рано или поздно, и, будем надеяться, в ней уцелеют и марка испанской Гвинее, и ее обладатель, а пока займемся другими, не менее, в конце концов, важными и полезными делами", - так рассудил бы гомо сапиенс, но не гомо собиратель, в коллекции которого не достает одной, всего лишь единственной марки. Короче, Хуго едет в Испанию! Он даже готов при необходимости принять участие в военных действиях. Тебя же сразу убьют! А разве можно убить постепенно? А как же мы, о нас кто подумает? Мужчины воюют, женщины плачут. Это не я придумал. Вот и весь, как говорится, сказ. Он уехал, не зная, в чьих руках Кастилия, на чьей стороне сам Силлис Бузинец, и говорят ли там по-голландски или, в крайнем случае, по-немецки. Не стану занимать внимание подробностями одиссеи Плеффа, которые желающие найдут в его дневниках, изданных, кажется, в пятьдесят третьем году в Амстердаме, английский перевод этой книги был выпущен в свет техасским филателистическим обществом. Хочу обратить ваше внимание на высокую (в последние годы) активность американских филателистов, которая, надо отдать должное, оживляет нашу жизнь, придавая ей динамизм и энергию, но, с другой стороны, американцы привнесли разрушительный для собирательства дух коммерции. Посмотрите на самые известные их коллекции! Большинство едва ли не целиком закуплены в Европе. Это уже не филателия. На ближайшем Комитете Федерации нами будет поставлен вопрос о резком ограничении для членов Всемирной Ассоциации коммерческой деятельности, связанной с марками. Итак, все же он добрался до Кастилии и нашел нужный дом, а там жили совсем другие люди, которые и не слышали про некоего Бузинеца, и вообще ничего не знают, потому что время такое, сами понимаете, беспокойное, а живут здесь недавно, так что лучше было бы спросить соседей, правда, они уехали, когда будут? кто же может теперь хоть за что-нибудь поручиться, ну, а если синьор нуждается в ночлеге, они могут проводить его до гостиницы, это недалеко, минутах в десяти ходьбы, впрочем, синьор и сам ее без труда найдет... Так ли было на самом деле - мы уже никогда не узнаем, ибо Хуго погиб, защищая Республику. Хотя, по его собственному признанию, из-за плохого знания или незнания... впрочем, я лучше приведу выдержку: "...Мой скверный испанский до сих пор не дает мне твердой уверенности относительно того, в чьем лагере оказался я волей случая.

Спрашивать напрямик по прошествии стольких дней я уже не решаюсь, а выведывать что-либо окольными расспросами... о, этот бурный, бестолковый испанский!" После выхода в свет английского перевода дневников Хуго, объявился и Силлис Бузизнес, в свое время, опасаясь преследований франкистов, тайно выехавший с семьей в Сан-Диего (Калифорния), где он работает и сейчас, в небольшой фирме по сдаче внаем старинной мебели. Узнав о судьбе Плеффа, Силлис (теперешнее имя его - Сол Бузин), обещал передать в дар дочери Хуго, унаследовавшей коллекцию отца... я думаю, излишне объяснять, что именно он обещал передать ей в дар, скажу лишь, что это должно произойти на очередном Всемирном съезде филателистов, в Москве, летом этого года. Так что скоро нам предстоит отпраздновать завершение еще одной коллекции. Я, по-видимому, войду в оргкомитет съезда и поэтому уже начал набрасывать повестку, сценарий, культурную программу. Хорошо бы, конечно, заказать к съезду документальный фильм по дневникам Хуго Плеффа, а еще лучше, если бы найти источники финансирования, спонсоров - игровой; на главную роль я бы взял Олега Янковского...

В какой-то момент мне захотелось впустить птицу, чтобы она пролезла, наконец, в форточку, уселась бы на диван; мы бы с ней подружались, живое все же существо, такое нахохленное, недоверчивое, я бы кормил ее изо рта в клюв, как голубя, гладил по голой кожистой голове. У грифа очень беззащитная голова, реденькие мелкие перышки, точно пушок на голове младенца, и шея тонкая, хрящеватая, как у вареной курицы, и тоже потрогать хочется, особенно, когда вот так она тянется к тебе, не находя за что зацепиться, и сжать в кулаках, чтобы ощутить сочленения под ее кожей, такие хрупкие сочленения, и в упор взглянуть в колючие круглые глазки, глаза моего деда, которого я совершенно не помню. Наверное, это глаза не моего, а другого деда, он жил на первом этаже и постоянно торчал на улице; он ненавидел нас, детей, все время грозил нам своей палкой с резиновым наконечником, кричал на нас, чтобы мы не кричали, не играли под его окнами, не бегали по лестничным маршам, а когда мы обстреляли снежками его окно, дед ходил жаловаться нашим родителям; родители ненавидели его тоже, но понимали, что он прав, что снежками бы уж не следовало, и им было неловко, и за это они ненавидели нас, а мы деда. И вот что: если повернуть в кулаках верхнюю часть этой шеи относительно нижней на полный оборот, все триста шестьдесят и еще шесть градусов, и, рванув в разные стороны, расчленишь позвонки, а после перегрызть кожицу, как у курицы, у вареной... не знаю, вы любите глотать куриную шейку? О да! И пупок люблю, и сердечко, а печенку - нет, она слишком сухая. А весь стол, представьте себе, в легчайших и нежных, как мотыльки, бумажных прямоугольничках, треугольничках с волнистой каймой, глянцевиной картинкой и чистенькой, с особым ароматом изнанкой, точно облетевшие крылышки ангелов.

Что было бы с ними, впусти я грифа? Единственный взмах крыла, и где искать моих мотыльков? К тому же, что мешает ему взмахнуть не единожды, а как он гадит, господи, как он гадит! Вы бы видели мой карниз, да и все окно целиком - коровник! Я потом целый день оттирал...

Испутив странный, похожий на протяжную икоту крик, птица оттолкнулась от карниза и, неловко, грузно перевернувшись в воздухе, стала выбираться в небо, продираясь меж ветвей на полусогнутых крыльях. При виде неуклюжих пируэтов чужой удивительной птицы всполошились вороны. Снялись - кто с ветки, кто с верхушки дерева, кто с мусорного бака, кто с земли, кто с крыши дома и, окликаая друг дружку, сбились в стаю.

Над чердаками нашего города ворона столь же полновластный хозяин, как крыса в подвалах. Ворона все видит и знает, и потому, несмотря на внутренние дрязги и драки, на врага идет всем кланом, равно как и от опасности удирает всем миром, кто куда, без оглядки. Поэтому голубям и воробьям нашим достаются только крохи с обеденного стола ворон. Поэтому даже крыса тайком промышляет по помойным кучам да свалкам, пока пернатая братия спит.

Тучей ринулись они на грифа; одни пристраивались в хвост и щипали сзади, другие вились вокруг, перекрывая воздушный коридор, не давая подняться. По счастью, грифу удалось отсечь часть преследователей, поднырнув в арку дома. Хитрое воронье разгадало маневр: они перевалили через крышу, чтобы обрушиться на хищника сверху, как только он покажется из-под арки. Не успели. Гриф уже набрал высоту и, распластав во всю ширь оба черных крыла, заслонил ими солнце. И на фоне распахнувшейся тьмы лишь светились тускло-желтые крючья его когтей, да горбатый тяжелый клюв. Тревожные вопли, метание, неразбериха - и стая рассеялась; затаились среди листвы и сидели тихо-тихо, пока гриф кругами уходил в вышину. Там, в высочайшей точке своего полета, он завис на мгновение над городом, то ли что-то высматривая, или, может быть, просто в раздумьи, и потом скрылся из виду.

А что? Я лично считаю, правильно сделал - грифы в городе не живут.

РЕЦЕНЗИЯ

на рассказ В.Крупника "Твердоклювая птица гриф"

Уважаемый тов. Крупник!

В редакции журнала прочитали предлагаемую Вами рукопись. Создается, что нам осталась не вполне ясна художественная сверхзадача Вашей вещи. Проще говоря: о чем это? как это понимать? в чем если не "идейный" смысл, то художественный "фокус"? Не приходится говорить о сюжете, композиции, прорисовке характера - это в Вашем рассказе почти напрочь отсутствует. Если Ваше произведение притча - то уж очень аморфная, неряшливая, перегруженная необязательными пресно-описательными

детальями, в результате чего смысл оказывается затушеван, скорее скрыт, чем выявлен. Сама притчевая канва не отличается ни свежестью, ни глубиной, она явно вялая.

Поэтому рассказ, кажется, ближе к фенологическому опусу, чем к философской притче. Тем более претенциозной выглядит его форма, т.е. само "письмо". Несомненно, Ваша вещь сработана с претензией на "модернизм", к слову сказать, ничем в данном случае не обусловленный, кроме разве желания автора писать раскованно, нетрадиционно (что уже само стало если не традицией, то признаком "хорошего тона") и, по возможности, "необычно". Но даже модернизм у Вас выходит какой-то доморощенный, "третичный", ученический. Слишком очевидны швы в неумелых и причудливых переплетениях "кусков", поветствующих то о филателии, то о жизни пернатых и грызунов. Далекая, несмелая аллюзия к Борхесу вызывает недоумение: во-первых, уж очень расхоже, а, во-вторых, к чему она здесь? Нельзя сказать, что автор пишет "под кого-то", нет, вещь, в общем, сделана профессионально и довольно ловко. Но, к сожалению, в ней мы не увидели достаточно своеобразия, какого-то своего тона, простите за трюизм, "лица необщего выраженья". Что касается Вашего языка, стиля, то, помимо уже упомянутой несамостоятельности, он отличается редкостным отсутствием того, что можно назвать изяществом и вкусом. Например: "...даром, что гадь пернатая..." или "...мотанет носом, и дзынь-ля-ля, запросто..." А заключительный, претендующий на поэтичность, период рассказа начинается так: "Испутив странный, похожий на протяжную икоту..." Серо и сыро, тем более, по контрасту с обилием (сверх всякой меры) географической "экзотики": Голландия, Испания...

Единственная находка в рассказе - это имя голландского филателиста, точнее, фамилия - Плефф. Да, сочинение Ваше, к сожалению, чистый блеф.

Рукопись вынуждены отклонить. С уважением:

Лит. консультант журнала - С.Будденброк.

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ

Гл. редактор: Ну что ж, уважаемые, мы прослушали рассказ Крупина или как там его... Крупника...

Чл. редколлегии: Бальзам есть такой, литовский, Крупникас называется...

Гл. редактор: Не знаю, не встречал. Ну, так вот, рассказ этого самого Крупниса, про птичку гриф с жестким клювом и рецензию на этот рассказ Семена Будденброка. Я нарочно привлек ваше внимание к рассказу - не потому, что хочу оспорить Семочкину рецензию (Сему мы все хорошо знаем и любим), а потому, что мне советовали обратить внимание на

автора, этого самого Крупниса...

С. Будденброк: Кто советовал?

Гл. редактор: Я не стану называть имени, чтобы никоим образом не помешать независимости сужде...

Чл. редколлегии: Да и так ясно, кто. Сам не пишет уже ни фи́га, так от скуки решил с начинающими повозиться, наставник...

Гл. редактор: Нет, Вилен Ефимович, на сей раз вы не угадали. Так что, прошу высказываться...

Чл. редколлегии: Я считаю, что раз вопрос спорный, надо подождать, надо условно принять к публикации и отложить в портфель... пока, а где-нибудь через полгода вернуться к нему еще раз; большое, как говорится, видится на расстоянии...

Чл. редколлегии: А малое?

Чл. редколлегии: Я попрошу не перебивать меня. Вернуться еще раз и тогда уже решить окончательно. К тому времени автор, может быть, представит еще работы, по которым можно будет более полно судить...

Чл. редколлегии: А может, и само рассосется...

Чл. редколлегии: Я же просила не перебивать! В общем, таково мое мнение, а сейчас, Всеволод Иванович, я бы хотела уйти, мне внука забирать, а времени уже... Если бы заранее знать, я бы предупредила, а сейчас уже времени...

Гл. редактор: Хорошо, хорошо. Мнение ваше нам понятно, про внука тоже, так что можете идти. Еще есть мнения?

Чл. редколлегии: Спасибо, Всеволод Иванович, до свидания.

Чл. редколлегии: А давайте опубликуем на пробу, там страничек-то всего, на пол-листа не наберется...

Чл. редколлегии: Правильно. И автору приятно будет. Я знаю, как бывает важно помочь в начале, приободрить, а потом он уже сам войдет в силу, раскроется. Ну, а дальше – время покажет. Даже если ошибемся, что в этом страшного? Это жизнь, ее надо принимать...

Чл. редколлегии: Доставить удовольствие автору можно и не за счет журнала и, уверяю вас, не меньше. Тем более, с вашими-то данными...

Гл. редактор: Вилен Ефимович!

Чл. редколлегии: Ладно, не буду.

Чл. редколлегии: Вы знаете, а я, в принципе, за публикацию рассказа. В общем, нескучный, неглупый, довольно игривый. Почему бы нет?

С. Будденброк: И ты не считаешь это блефом?

Чл. редколлегии: Да что тебя, Сема, к этому слову как припилило?

С. Будденброк: Потому что слово точное, потому что точно определяет жанр, в котором этот Крупник подвизается.

Чл. редколлегии: Все жанры хороши, кроме скучного!

С. Будденброк: Я не нахожу это сочинение ни веселым, ни интересным...

Чл. редколлегии: Ну тебе его больше и не придется читать, что ты, собственно, беспокоишься? Ты рецензию написал? Самовыразился? Ну и сиди спокойно, чего тебе, не понимаю? Пусть теперь еще кто-нибудь по-самовыражается...

Чл. редколлегии: Ну вам-то, Светочка, это ни к чему, вы и так выражены очень неплохо и сами знаете, как мы все это ценим...

Гл. редактор: Вилен Ефимович! И, вообще, уважаемые, давайте-ка поближе к существу, а то Бронислава Иосифовна уже, я полагаю, внука кашей кормит, а у нас с вами как-то ни ну, ни тпру...

Зам. гл. редактора: Бронислава Иосифовна зря времени терять не станет, это не в ее духе...

Гл. редактор: Пусть кормит, на то она и бабушка. Малыши - народ требовательный, их кормить как следует надо; "поле орать - не горло драть"...

С. Будденброк: Хотим мы того или нет, литература вышла из слова пророческого, библейского. Слова значительного и скупого, слова, что дороже молчания. Поэтому, если ты вознамерился нечто изречь, ты перед этим словом в ответе, еще только рот открыл, да в позу встал - а уже должник его и заложник, чирикнуть не успеешь - оно раздавит тебя своей громадой, уьет красотой. А потому, если голос тоненький и кровь жидковата, пиши-ка лучше рецензии...

Чл. редколлегии: Но литература вышла еще и из байки, прибаутки, каламбура, сказочки да припевочки, анекдотца и фельетончика. А традиция путешествий, дневников и записок? А как быть с очерками, эссе? Или, например, эпистолярное творчество и прочая болтовня? Все это сонмище малых жанров, чистых и нечистых... С ними как - говоря психиатрическим жаргоном - с "алалашниками"?

С. Будденброк: Алалашники, ты сам говоришь, дело психиатрическое, а литература - совсем не то!

Чл. редколлегии: Ну это, Семочка, уже фашизм какой-то...

С. Будденброк: А то, чем этот Крупник занимается - литературный онанизм! Он не графоман, нет, он - онанист, что гораздо хуже, потому что графомания - безобидна, как бы равна себе, что-то вроде подростковых прыщей: у кого-то есть, у других - нет; онанизм же если не болезнь, то, во всяком случае, ущербность. Так зачем мы будем пестовать ущербных или... алалашников? Эдак вконец запаршивеем...

Чл. редколлегии: Суров ты, Семочка, конечно, но не совсем по делу. Возьми-ка, к примеру, годовую подшивку какого-либо журнала, ну да хоть нашего. Если по-твоему подойти, то в лучшем случае из нее можно было бы один выпуск составить, да и то тощенький, каким Дон-Кихота рисуют, а из остального, как говаривали в старину - пийей наделать.

С. Будденброк: Не я готовил эту шушеру к изданию, не я подписывал в печать, не я давал положительные отзывы. Я - внештатник!

Чл. редколлегии: Не-е-ет, шалишь, братец. Редакция наша тебе денежки платит, а ты - это ж надо! - берешь их, семью на них кормишь, да и сам кушаешь, пиво пьешь, а денежки-то, главным образом, из этой самой шушеры и получаются. Нет, друг Сема, не отмазаться нам от этого Крупникса, на одной с ним скамеечке ерзать придется, перед главным судьей. А ежели не хочешь - надо как-нибудь по-другому выворачивать. Вот Максим Горький, не к столу будь сказано, взялся библиотеку всемирной литературы составить, из одних сплошь шедевров, да и сам, случилось, писал вещицы под статью им... Мы же с тобой, Семен, ни то, ни другое. Не стоит, наверное, через губу-то плевать. У верблюда, знаешь ли, два горба. Почему? Потому что жизнь - борьба.

Я (собственно Крупник): А что бы не опубликовать их вместе, в одном номере, подряд рассказ и рецензию, а следом еще что-нибудь из классики, в качестве образчика, и можно тоже - с рецензией... И дискуссия, и читательский вкус воспитывать...

Зам. гл. редактора: А вы, простите, чьих будете? Вы вообще - член редколлегии?

Я: Нет, не член.

Зам. гл. редактора: Тогда что вы здесь делаете? Почему мешаете работать? Кто вообще вас пустил?

Я: Да никто не пустил, я сам, извините, сейчас уйду, я не хотел вам мешать, извините...

Зам. гл. редактора: Всеволод Иванович, что это за бардак?! Проходной двор, что ли? Кто у нас отвечает зд...

* * *

Внизу, у подъезда редакции я подождал своего приятеля. Это он провел меня на заседание редколлегии, поэтому не назову его имени, а дабы обеспечить ему алиби, отмечу, что и его реплика содержится в приведенном протоколе. Ехать нам было в разные стороны, и мы решили пешком пройти до станции метро "Пушкинская". По пути решили выпить кофе в армянской кофейне, рядом с магазином "Армения", это по левой стороне Тверского бульвара, если стать спиной к Пушкину. В кофейне пахло, естественно, кофе, большими (по нашим люмпенским понятиям) деньгами и мелкой торговой мафией. За прилавком стояла отчужденно-приветливая женщина, "красивая и дорогая", как сказал поэт. Лысый, черноволосый (я - о руках) кавказец медленно курил тонкие дамские сигареты, наблюдая, как она работает. Изредка он бросал какую-нибудь фразу, звучавшую для нас бессмысленными обрывками, вроде: "Он еще привезет? Два ящика, а еще завтра, да?" - от которых осталось повисшее под потолком вместе с сигаретным дымом словечко "ещё". Женщина отвечала с живостью, но не оборачиваясь от прилавка, голос у нее был сочный и переливистый. Приятель закурил "Беломор". У него хрупкие длинные пальцы, нежнее и

тоньше, чем у красавицы-подавальщицы. И мраморная кожа лица, особенно на висках, где просвечивает голубенькая, распадающаяся на два ручейка жилка.

"А Сема ваш лобастый бычок, крепко бодается". "Да, - ответил приятель; струя дыма из крепких ноздрей, - на козе не объедешь". "А что за фамилия странная - Будденброк, псевдоним?" "Нет, такая вот фамилия досталась, тебе - Крупник, ему - Будденброк". "Все равно, можно было бы попроще как-нибудь, наверное..." "Наверное". "А знаешь, я без всякой претензии этот рассказ писал. Может, не без кокетства, но без претензии. Я просто хотел сказать, что если вам на шляпу капнет вдруг большая нездешняя птица или среди бела дня неторопливо и нагло, неряшливой походкой ожиревшей бандерши, вам перейдет дорогу крыса - не обольщайтесь, пожалуйста, и не пугайтесь, не погружайтесь в душевную смуту. Вы не один на свете такой, нас много, томительно много. Да, и не говорите, пожалуйста, что вы не зна-а-али!"

Я, кажется, повысил голос во время этого монолога, особенно под конец. Женщина за стойкой даже взглянула на меня с интересом, правда, не с тем интересом... Приятель задумчиво перекачивал дым из папиросы в неподвижный сухой воздух кофейни.

"Вот так бы прямо и написал..." "Хорошо, напишу. Именно так и напишу. Обязательно. Только... только в другой раз... как-нибудь".*

* Автор выражает признательность И. Меламеду, выдержки из чьей рецензии использованы в рассказе.

Евгения ПЕРЕПЕЛКА

КРУГ

Здесь таракан, шурша бумагой,
Мешает думать по ночам,
Здесь воздух дышит тьмой и влагой,
И неуютно здесь очам.
Здесь на продавленном диване
С облезлой кошкой на руках
Подруга Вера шепчет Анне,
Что жизнь в нее вселяет страх.
Она ей повторяет: "Анна,
Мне все страшней день ото дня,
Ведь Виктор Юрьевич Романов
Толкает к гибели меня.
Он так похож на лес осенний,
Где ветром скрючило листву,
И жизнь его без изменений
Лежит, как лист гнилой по рву.
Он каждый день один в пустыне
Квартиры нежилой своей.
Там хладнокровный чайник стынет,
Там дремлет мебель без ключей,
Там утварь праздная справляет
Вечерний скучный хоровод...
Не думая, что умирает,
Романов так давно живет.
В его судьбе настала точка,
Он движется, едва дыша.
Он сам - лишь только оболочка,
Где умерла давно душа.
Едва живой, смертельно пьяный,
Он все же страшно дорог мне..."
И Вера грустно, вслед за Анной
Глазами ищет жизнь в окне.
А там бегун, судьбой задавлен,
Свершает ежесуточный круг.
Спортивный бег во ад направлен,
И Вера всхлипывает вдруг.
И грустно, и тревожно Анне -
Как шарфик на груди ни рви,

В едва проснувшемся сознании
Маячат призраки любви.
А завтра утро будет хмуро,
И Анна в школу не пойдет,
И в зеркало прошепчет: "Дура" -
И съест увядший бутерброд.
А так как мама на работе,
И в доме мрак и пустота,
То Анна соберется к тете,
Живущей около моста.
Там непривычная картина,
Там сшит для чайника чехол,
Гудит стиральная машина,
Звенит хрусталь, лоснится пол...
Не призрак собственности частной
Ее влечет туда порой -
Она лишь хочет быть причастной
Все к той же тайне роковой!
В квартире тети есть загадка,
Она не в люстрах, не в коврах,
И Анне знать ее так сладко,
Хоть намекнуть мешает страх.
И тетя с Анной возле окон,
Страдая, путаясь в словах,
Сидят без жестов, без намеков,
Но с общим знанием в чертах:
Когда ни выглянешь в окошко,
Там, за сиреневым кустом,
Стоит Илья Ильич Горошков
С глазами, полными окном.
Он здесь в любое время года,
Он в землю врос, как брат куста.
Однако же, его природа,
В пример растенью, не проста.
Ему не хватит просто света,
И чернозема, и воды.
Ему для счастья нужно это
Окно любви, кино беды,

Где Ольга Глебовна томится
В густой солянке из вещей,
Рыдая, как ночная птица,
Над диссертацией своей,
Где муж ее в одной пижаме
Разгуливает, словно царь!
Горошков весь кричит глазами,
И из спины растет фонарь!
Горошков тихо входит в фазу,
Где только смерть любви подстать,
И он несет себя, как вазу,
Чтоб боль свою не расплескать.
Куда идти? Кругом все пусто.
Есть только светлое окно,
И есть смертельное искусство
Души, измученной давно.
С глазами, синими от неба,
Горошков к церкви поспешит.
Там голубям кидают хлеба
Старушки, бледные на вид.
Их замирающие лица
Черны, как дерева кусок,

В их жилах кровь едва сочится,
Как в ноябре древесный сок.
И в откровеньи простодушном
Горошков деньги достает,
И тусклым маленьким старушкам
Все, до копейки, раздает.
Одна, согнута как подкова,
В пальтишке детском голубом,
Благословит его, шального,
Да и подумает о том,
Что Виктор Юрьевич, сыночек,
Давно ее не навещал.
А раньше приходил... Платочек
Все подарить ей обещал.
Среди друзей, в сосиску пьяный,
Лежит, наверное, опять!
Ах, Виктор Юрьевич Романов!
Совсем вы позабыли мать!
Все нет и нет от сына вести.
С лицом, исчезнувшим от мук,
Она и завершает круг,
Где каждый на почетном месте.

* * *

Владимир АБРОСИМОВ

ВЕРА ПАВЛОВНА

Я просыпаюсь в шесть, открываю глаза и каждое утро вижу, как из зеркала смотрит на меня проснувшаяся женщина. Она поворачивает голову налево и исчезает, а я вижу вторую кровать. На ней спит мужчина, Балабанов. Он мой муж. Женщина в зеркале показывает мне язык: "Что, дожили до того, что спите отдельно?" "Да". Встаю и иду на кухню. Открываю кран, наливаю воду в кофейник, ставлю кофейник на газовую плиту. Спичек, как всегда, нет. Балабанов уносит их по вечерам в спальню, а я забываю об этом и каждое утро возвращаюсь из кухни в комнату и нахожу спички на полу рядом с пепельницей. Спи, Балабанов, спи и не просыпайся. Он во сне шевелит губами. Я знаю, он говорит "мое солнышко". Твое солнышко снова должно искать спички, лежебока. Каждое утро оно должно подавать тебе свежий кофе и жареное мясо, потому что ты здоровый и тяжелый, твой удельный вес - 7,8 - как у железа. И с каждым годом ты становишься все жизнерадостнее, а спина, за которой мне так легко живется, шире и увереннее.

Но все это ерунда, детали; главное - кофе, мясо, поцелуй перед завтраком и после обеда, а иногда ты позволяешь себе лечь ко мне в постель, чтобы развлечься. Ведь у тебя нервная работа, и ты приходишь ко мне искать утешения после очередного вызова "на ковер", тем более, что я и должность занимаю подходящую - "солнышка", которому так завидуют жены твоих подчиненных. Если бы ты знал, как они шепчутся: "Везет же ей". Да, мне очень везет.

"Ау, солнышко!" Ну, вот ты, Балабанов, и проснулся. День начался.

Он идет в пижаме в ванную, тщательно моет уши и руки, и я слышу рокот воды в его мощном горле. Потом он приходит на кухню и ждет, когда мясо будет готово. Он сидит в пижаме, я в халате, мы смотрим друг на друга, отворачиваемся и снова смотрим, но, наконец, мясо готово, мы облегченно вздыхаем. Он начинает есть и каждый раз я говорю ему: "Не чавкай, Балабанов, ты же комбат". Он смущается и некоторое время ест тихо. Я наливаю кофе, а он смотрит, неловко пряча в рукавах большие руки. Пока он одевается, я успеваю вымыть посуду. И мы встречаемся у двери кухни; я иду в спальню, а он, уже одетый, выходит из нее. "Подбери живот". Он только разводит руками. "Ну, не надо, живот тебе к лицу". И тогда Балабанов вздыхает: "Ох, солнышко, брошу я тебя, мама моя, - и потом уже у двери: - Знали бы подчиненные, что делаешь с их комбатом". Это он говорит просто так, с порога, а затем я вижу, как он, проходя под окнами, радостно и робко, так, чтоб никто не увидел, машет рукой и прячет ее в карман, как будто украл что-то...

"Мама моя!" Маме - тридцать. Мама уже живет с Балабановым десять лет. Неплохой стаж. Я смотрю туда - в десять лет назад - на фотографию, которая стоит на громадном шкафу, купленном Балабановым. Балабанов любит крупные вещи. Он говорит, в них есть что-то вечное. Я смотрю на тот день, когда моя мама была счастлива, она и умерла счастливой за меня. Здесь на фотографии я стою в белом платье, которое маме очень нравилось. Она любила белый цвет и считала, что цвет этот очень идет всем людям, а мне - особенно, потому что я ее дочь. Я открываю дверцы шкафа. Мои белые платья! Вот в этом я гуляла по Линску, когда Балабанов был еще капитаном. Тогда ему тоже нравился белый цвет, и он добродушно смеялся над прозвищем "белая ворона", которым меня наградили гарнизонные жены. А в этом я оставалась в Минске, когда Балабанова направили в Германию. Тогда он часто писал мне, ругал каких-то замполитов и старшин и жаловался, что скучает; просил поскорее приехать. Писал, что уже выбил отдельную квартиру, которая ждет хозяйку.

Я приехала к нему в сентябре. И он очень удивился, увидев меня в белом платье осенью, как-то быстро посадил в "Волгу" и уже потом, по дороге домой, стал объяснять, что здесь в моде неяркие сдержанные тона (оно действительно так), а он, Балабанов, теперь комбат, и положение обязывает меня быть скромнее; что белый цвет на все случаи не годится - слишком маркий; что квартира у нас с отдельным входом, есть ванная, есть газ, есть все, чтобы мне не скучать и быть счастливой - чувствовать себя женой комбата.

Я закрываю дверцы шкафа, в котором есть что-то вечное, как говорит Балабанов, и включаю приемник. Играют мою любимую песенку "Зибцейн яре". Ее всегда поют между Берлином и Парижем. Ее поют для солдат бундесвера и для меня. Мелодия внезапно обрывается, звучат удары барабана, и грубый голос повторяет: "Бундесзольдатен!" - и еще что-то, резко, и сразу же начинается другая: "О, бэби, бэби, бэби, ю ар о'кей!"

"О, бэби, бэби..." - бормочу я, лежа на кровати. Надо мной голова лося; когда я смотрю на нее, мне всегда кажется, что это живой лось пробил стену в спальню и никак не может вырваться обратно. Сегодня я прощаюсь с ним, вечером мою Лосю Балабанов унесет своему непосредственному начальнику, которому она очень понравилась; она уже никогда больше не услышит, как за стеной тренируется по утрам тенор полкового ансамбля, наш сосед, которому каждое утро надо взять свое верхнее "ля", чтобы чувствовать себя человеком. Она больше никогда не услышит голоса мальчика в зеленой гимнастерке, как он шепчет: "Верочка я хочу тебя", - когда мы сидим в полутемной комнате у окна, и я - почти в обмороке от его рук и губ - как во сне, отвечаю Балабанову, что все хорошо, что мне хорошо, что я его жду. И мальчик, он тоже слушает телефон, беззвучно смеется. А когда я кладу, наконец, трубку, все плывет перед глазами от слов "мое солнышко", "я хочу тебя", от шелестящего

смеха, от того, что за дверью монотонно звучат чьи-то шаги, и кажется: каждый шаг сейчас поставит точку. И когда уже нет сил сопротивляться, уже нечем дышать, я вырываюсь из его рук и отхожу к окну. Он тоже встает. Я говорю: "Уходи". Но он обнимает, и мы снова стоим молча и смотрим на детскую площадку, на желтый песок и качели, с которых все началось, на беседку, где обычно сидят жены и играют в карты. Я снова говорю: "Уходи", - и он идет, осторожно ступая по ковру, слышен только скрип ворса. У двери он останавливается. Шаги на лестнице. Каждый раз я считаю ступеньки. Один пролет, второй. Идет офицер. Я узнаю его по звону подковок на пятой ступеньке от моей двери. Три, две, одна... Мимо. На этот раз мимо. Я бросаюсь к мальчику в зеленой гимнастерке и шепчу: "Прости". Он берет меня за плечи, смотрит в упор и говорит жестко: "Ты никогда не сможешь решиться. Ты просто боишься, а это хуже, чем изменить". И каждый раз я прошу его не уходить, но он тихо смеется, целует и быстро исчезает за дверью. А через несколько минут я вижу: он входит во двор своей части, за проволочным забором, курит с солдатами, а потом его уже не видно. Не видно уже целую неделю.

Уже неделю он не приходит ко мне, и по ночам, когда Балабанов спит, я встаю и смотрю на слабый свет окон части, где спит он, мальчик в зеленой гимнастерке. Оттого, что он не приходит целую неделю, мне кажется, что он не придет больше никогда, и я начинаю вспоминать все наши встречи. Странно, я ни разу не была с ним в белом платье. Это получилось само собой. Я была одета в то, что покупала для жены Балабанова. Эти сдержанные тона вошли в мою жизнь и стали необходимой частью "милого гнездышка" так же, как шкаф, ковры, голова лося, чужие шаги и тайные свидания. И теперь обе мы - я и квартира - просто часть гостиницы, которую моя единственная приятельница, жена капитана Иванова, называет "Пентагоном".

Иванова живет на третьем этаже, и когда однажды я поднялась туда и шла к ней по длинному коридору с единственным окном в конце, меня чуть не вырвало от запаха сырых пеленок и подгоревшего масла, от того, что внезапно открывались двери, и женщины смотрели мне вслед, и плакал ребенок, а навстречу мне шла чья-то беременная жена, совсем еще девочка, стеснявшаяся своего огромного живота. И она, эта девочка, посмотрела на меня так виновато, что я опустила глаза. Вернувшись домой, я потом целый час отмывала этот запах третьего этажа. Оказалось, что мое посещение Ивановых - важное событие: "Жена полковника приходила в гости к жене капитана". А это, как потом объяснила Иванова, здесь не принято; здесь у жен существует своя табель о рангах, как у их мужей на службе. И она попросила разрешения заходить ко мне - так наши встречи не будут слишком бросаться в глаза.

Она заходит ко мне почти каждый день перед тем, как идти на продовольственный склад за продуктами. Мы пьем кофе, и я вижу, что ей

нравится тишина, тихая музыка и дорогие вещи. Она говорит, что я должна быть счастлива оттого, что не живу на третьем этаже и никогда не узнаю, что это такое.

И она тоже когда-то не могла себе представить, что в ее жизнь войдет третий этаж. Но он вошел, как вероятно, входит в жизнь каждого, и от этого никуда не денешься. Она ненавидит его и всю эту гостиницу, похожую на провинциальный городок, где жизнь твоя видна, как на ладони, и ты ходишь по ней, как будто раздетая.

Вчера она была очень взволнована, забежала сообщить, что гостиница потрясена чрезвычайным происшествием: "Какой-то сержант соблазнил жену офицера! Все обсуждают: кто он. И она хороша! Ну пусть бы офицер, но сержант?!"

А когда я сказала, что сержанты – тоже люди, она удивилась совершенно искренне. А мне казалось, что мы понимаем друг друга, и я могу говорить с ней почти как с Лосей. А, на самом деле, если все рухнет, Иванова скажет вместе с гостиницей: "Он же солдат..." – и третий этаж раздавит милое гнездышко. И что могла бы сказать я ей?! Что счастлива бываю лишь тогда, когда не слышу ни "мое солнышко", ни "мамочка", ни ее голоса, ни арий тенора, а только: "Верочка, я хочу тебя", – в темной комнате, у окна, где, стоит закрыть глаза и перестать сопротивляться, вспыхивает: "...другому отдана и буду век ему верна". А мальчик смеется беззвучно: "Не опоздай решиться", – уходит и говорит: "Хуже, чем изменить". Что же могла я сказать ей, кроме "это ужасно!" Она не пришла сегодня. Сенсация выбила из колеи всех жен, они гудят, как пчелы над ульем. Только я лежу и смотрю на Лосю, которую Балабанов унесет вечером. И непосредственное начальство будет хвалить ее и трогать руками. Лося! Телефон...

– Алло?

– Солнышко, это я.

– Ах, это ты!

– Что с тобой, солнышко?

Он говорит басом, трубка вибрирует, кажется, губы шевелятся около щек, "...ышко" – отдается, как эхо. Он разговаривает там с кем-то. Отдаленные голоса звучат неясно, будто доносятся сквозь толщу воды. Я вижу вдруг своего мальчика, словно он шепчет что-то. Я знаю, он шепчет: "Верочка..." Странно, я вижу нас обоих, мы молчим, только у него беззвучно раскрываются губы.

– Я тебя спрашиваю, мерзавец, что бы ты делал теперь на ее месте?

– Что ты сказал, Балабанов?

– Да, солнышко, я слушаю тебя...

И чей-то крик: "Она сама виновата!" И кто-то: "Все ясно, товарищ полковник..." Молчание и снова крик: "Она сама..."

– Балабанов, что у тебя происходит?

- Появился Казанова.
- Какой Казанова?
- Из третьей роты.
- Балабанов, я ничего не понимаю!
- Солнышко, мне некогда. Вечером все расскажу.
- Хорошо, только не уноси сегодня Лосю...
- Товарищ полковник, вызывает начальник политотдела.
- Ну, мерзавец...
- Балабанов!
- Солнышко, я обещал; я убью тебе другого...

Гудки. "Положите трубку". "Извините". Боже мой, как он кричал: "Она сама!" Как будто хотел, чтобы она его услышала. Но что теперь делать той, другой? У нее тоже было свое "милое гнездышко", а теперь? И этот Казанова кричит: "Она сама!" Бедняжка!

После вызова в политотдел Балабанов будет неделю приходить в себя, а на свете нет ничего тоскливее, чем слушать, как он пьет один в спальне. И все это сделал Казанова - "мерзавец" - жаждущий сенсаций, из-за которого мой мальчик не сможет приходить ко мне. Итак я не сплю ночами и боюсь выходить на улицу - вдруг все узнали, и со мной случится то же самое. Из-за какого-то Казановы! Им все равно: кто он - мой мальчик или Казанова. Но я ведь совсем другое, я не имею отношения к гостинице...

- Вера Павловна, добрый день.
- Это Иванова. Придется вставать.
- Здравствуйте, милая. Идите ко мне.

Когда Иванова садится, то всегда натягивает платье на колени. Какое целомудрие! И эта смесь зависти и робости, боязнь не дотянуться до меня... Господи! Иванова, потерпите, вы тоже будете когда-нибудь женой комбата...

- Вера Павловна, я сейчас видела мрего...

Ах, вот в чем дело. Ее тоже был там, и она уже в курсе, но - и это, пожалуй, первый случай в ее практике - сегодня я опередила ее.

- И что же?

- Мой сказал, что нашли Казанова, так его назвал ваш муж. Представляете, этот Казанов - сержант из нашей части. Такое ЧП!

Лучше бы ты ничего не говорил, Балабанов, по крайней мере было бы не скучно, а теперь я обречена выслушивать эту гарнизонную хронику еще раз. Боже мой!

- Да, мне звонил муж. Я сделаю кофе?
- Ради бога, не беспокойтесь. Я на минутку...

Снова начинаются упрасивания, отнекивания, комплименты и признательные улыбки: "Не надо... да, что вы... чуть-чуть... не стоит беспокоиться..." - а сама готова сидеть вечность и говорить о чем угодно,

даже ни о чем, лишь бы не уходить.

- Сидите, сидите. Вы же любите покрепче, правда?

- Вера Павловна...

Глаза Ивановой сияют. Я иду на кухню, а она остается в комнате. Сливки, сосиски, сыр, коньяк... как мерзнут руки! Торт, шоколадный набор... не то, где же спички... склероз... Куда же я их дела? Голос Ивановой стал глухим, будто сели батарейки у магнитофона, теперь она не говорит, а шепчет:

- Вера Павловна, а я его хорошо знала...

Это любопытно. Соль рассыпала. Нож, рюмки. Берегитесь, Иванова, сейчас мы узнаем ваш моральный облик, достойны ли вы занять в будущем должность жены комбата? Наточить нож... не забыть, но где же спички...

- Вы, наверное, были его первой жертвой?

- Что вы говорите, Вера Павловна!

Что я говорю? Спички, быть или не быть, о майн гот...

- Ну, признайтесь, вам хотелось бы стать его жертвой? Наверное, он стоил того, чтобы в него влюбилась жена офицера?

- Вера Павловна!

Хорошо, хорошо, не буду. Вы - непробиваемая, Иванова. Но спички? Господи, что за день, какой-то день потерь! Должна же я найти их, наконец, и тогда мы заьем эту сенсацию кофе со сливками, или нет, лучше черный...

- Мы будем пить черный?

- Да, пожалуй...

- И чуть-чуть коньяка?

- Вера Павловна...

- Да, я слушаю вас.

- А вы его тоже знали?

А-а-а, она оказывается, не так проста. Но это примитивно, я не попадусь на вашу удочку.

- Конечно, он меня тоже хотел соблазнить.

- Я же серьезно!

- Я тоже не шучу. Я мечтала стать его жертвой, а он выбрал другую. На то он и Казанова...

- Ну, что вы, Вера Павловна. Помните, мы играли в бадминтон, он еще подошел к вам...

Да, мой мальчик подошел и сказал: "Я хочу починить ракетки. Я хочу починить. Я хочу... Я хочу тебя". Волан в небе, запрокинутое лицо, смех, треск ракетки - и он смотрит сквозь сетку на меня и говорит: "Я хочу..." Нет, невозможно! Ракетка, качели, звезды над его головой. И глаза - они летят то вниз, то вверх, они летят надо мной, растут, приближаются... "Верочка!" И я говорю единственный раз в жизни: "Придите ко мне, пожалуйста". Мальчик в гимнастерке. Сержант!

- А разве он был сержантом?

- Да, три лычки на погонах - сержант, одна широкая - старший сержант, потом старшина, а теперь - ни одной.

- Три лычки, три лычки, три... Сержант? Боже мой!

- Мой сказал, что Казанов сам признался и кричал даже: "Сама виновата!" Вот чем он отомстил за любовь...

Ну, пусть он был сержантом. Но не мог же он быть с той... Лося, ведь ты все знаешь о нас. Он же шептал: "Верочка, не опоздай решиться..." - а Иванова твердит "соблазнил". Телефон... крик: "Сама виновата..." Боже мой! Это он кричал мне: "Она сама!" Лося! Мой мальчик - сержант с тремя лычками! Сержант... Казанова!

- Какие неприятности коллективу, правда, Вера Павловна?

Господи, а ведь это правда. И ей он говорил: "Я хочу тебя". И она, эта гостиничная, она не опоздала. Лося, не виновата я! Не я выбрала эту жизнь, а Балабанов, Лося. Они все мне завидуют, "у нее все есть"... А на самом деле все есть у Балабанова, у меня только ты, Лося, и кому мне сказать об этом, кроме тебя. Мы обе - украшения "милого гнездышка". Но тебя уже давно убили. И сегодня унесут в еще лучшее гнездышко. А куда унесут меня? Меня не унесут. Я еще живая. А живые уходят сами. Ну, пусть бы я решилась, но про тех, кто решается, кричат: "Сама виновата!" Лося, ну скажи хоть что-нибудь по-человечески...

- Ой, да на вас лица нет!

Лица нет. Ли-ца-нет... Лица нет. Нет, нет - ну и что?

- Что с вами, Вера Павловна?

Что со мной? "Верочка... Я хочу тебя..." Он все еще хочет вас, вы надеетесь, Вера Павловна? Как она смотрит она меня, эта Иванова!

- Со мной все хорошо.

- Грустно вам, я понимаю.

Нет, Иванова, и это примитивно, я не попадусь и на этот раз.

- Да, вы угадали. Балабанов унесет сегодня голову лося, а я к ней так привыкла.

- Вера Павловна, меньше пыли в комнате. Вера Павловна... ну, убьет другого, еще красивее... Как сержант!

И-ва-но-ва! Мой мальчик... мальчик в зеленой гимнастерке. Гвоздями - к стене. Мой мальчик...

- Уйдите!

- Да что вы, Вера Павловна?!

- Уйдите, прошу вас. Ну, И-ва-но-ва!

- Может быть, мужа? Врача? Вера Павловна... я - мигом, я - бегом!

Убежала. А кофе? И кофе тоже убежало. Все убежали. А я? Лося! Иванова обо всем догадалась. Сейчас придет врач... муж... Балабанов... Она обо всем догадалась, Лося! Дверь, прихожая, подъезд... Поздно! Она убежала распространять свежую сенсацию.

- Вера Павловна!

Господи, она еще здесь. Иванова, радость моя! Она стоит этажом выше, наши взгляды встречаются, и я бормочу:

- Куда же вы? Кофе остынет...

- Он уже давно выкипел, Вера Павловна. Запах - на весь подъезд.

Она смотрит на меня. Она наслаждается: мы с ней с одного этажа. Наконец-то. Я понимаю вас, Иванова, но почему-то вырывается... боже мой, я заискиваю: "Посидим, поболтаем..."

- Я зайду к вам вечером, Вера Павловна.

Иванова смотрит на меня выжидающе.

- Заходите, - шепчу я, - мы вам рады...- Еще один взгляд свысока, понимающая усмешка - я вас не выдам... Попробуй только выдай, и ты навсегда останешься капитаншей, Иванова!

Вера Павловна возвращается к себе, медленно подходит к голове лося, гладит ее и вдруг со всего размаха дает ей пощечину. Голова лося содрогается, но ее молчание приводит в ярость Веру Павловну, и она с наслаждением бьет еще и еще. Она бьет до тех пор, пока случайно не наткнется рукой на острые рога, и ей внезапно кажется, что голова лося начинает медленно поворачиваться к ней. Она испуганно отступает от нацеливающихся на нее рогов, но тут входит Балабанов, вернувшийся из политотдела. Вера Павловна бросается к нему и шепчет, прижавшись к его мощной, как шкаф, груди:

- Я согласна. Подари голову начальнику. Меньше пыли в комнате .

КОГДА-НИБУДЬ В СРЕДУ

...Встретить профессора, который написал книгу "Любовь", проверяя свои выкладки у ресторана "Ропотамо", где он встречал тысячи комбинаций и определял: вот идут те, кто несчастливы. Он берет гвоздики у уличного мальчишки - цыгана с розовыми, как пятки у негра, ладонями. Ему все равно, что цветы резко пахнут, что они опрысканы духами, конечно, не от Диора, но и она тоже не Софи Лорен...

Профессор им говорил, что они просто... не та комбинация губ, волос, жестов, щитовидных желез, толчков крови; он говорил им до свадьбы, что они разойдутся, потому что несовместимы два холерика или два флегматика, только два подлеца совместимы... это два поезда, летящие навстречу, это... Они разошлись, и он виноват, потому что сказал им до свадьбы...

Профессор говорил это и Митеньке, который ни разу не участвовал ни в какой комбинации, но которому через несколько месяцев было угодно попасть в нее. И вот тогда он вспомнит:

"Природа знает, что человек никогда не будет совершенным; он будет совершенным только с дополнением. Но где граница? Она скрывает. Но профессор знает, что если в воду насыпать соли, она не станет морской. Все дело в комбинации..."

А Митенька, ошалевший, униженный и оскорбленный, с увядшей розой в спутанных волосах, будет бродить, поводя фиалковыми глазами, и шептать: "Профессор, профессор..." А она, его единственная комбинация, его Книрпс...

Она не спала всю ночь перед тем, как встретить его, прилетавшего первым утренним самолетом. Она приехала раньше, и ей пришлось одной бродить в громадном пустом зале аэропорта. Одиноким служащий, увидав ее гипсовое лицо, провел ее прямо к взлетной полосе. Там она и простояла до самолета.

Он промчался мимо нее, но потом испуганно обернулся и почему-то снял очки.

- Макс, - сказала она, - Макс...

- Ну, как же ты попала сюда? - говорил он, подходя к ней и раскидывая руки, как при падении с вышки в бассейн.

Уже потом, в такси, он сказал: "Уж не спишь ли ты с начальником аэропорта?" Она не ответила. Но он поверил так, получив десять дней доказательств. После этого он скажет: "Никогда больше не оставляй меня". И она снова вспомнит его описание жизни холостяка, который сидит в кресле, рядом стоит бутылка коньяка и бутылка содовой. Он смотрит телевизор и тихо накачивается до такой степени, что забывает выключить воду в ванной и просыпается на ласковых волнах. Он плавает под звездами и считает всплывающие бутылки из-под коньяка...

- Теперь мне придется выпить вдвое больше, - сказал он на прощание. - Не оставляй меня...

А Митенька не знает, что они станут ближе всего тогда, когда они еще не будут знакомы и только встретятся среди безбрежных сугробов. Он уступит ей узкую тропинку и встанет в глубокий снег. Она пройдет, и ветер засыплет его голову ее белыми волосами; он станет уменьшаться и где-то от самой земли будет смотреть на уходящую женщину, бежать за ней, но чем быстрее, тем дальше будет уходить она, а его, карлика с увядшей розой в спутанных волосах, будет отбрасывать от нее, как птицу ветром... и все только потому, что профессор говорил:

"...Решить проблему равнобедренного треугольника, как решили Друи-Гюго-Друи, или Виардо-Тургенев-Виардо, или... Решение этой проблемы спасет будущее, эта революция возможна в одной стране, во Франции. Ни болгарки, ни русские, ни польки, ни немки, ни... - только французенки могут реабилитировать все свои революции. А пока..."

...И когда самолет оторвался от земли и уже убрал шасси, она вспомнила, что читала о разводах из-за пьянства, несхожести характеров

и темпераментов, из-за отсутствия денег и из-за их присутствия, из-за длительной разлуки. Он тогда сказал, что из-за последнего они никогда не расстанутся.

Она смотрела, как рассеивается черный след, и видел их квартиру, по которой плывут персидские ковры, цветы, картины, кресло с холостяком, заснувшим перед телевизором... и не могла понять, почему, когда он спал с ней, со своей женой, то говорил, что она должна подарить ему сиамского кота. "Почему?" - хотелось тогда спросить ей, но она даже не успевала задать этот вопрос. Ведь это очень трудно - когда три месяца не спишь не только со своим мужем, но даже и с каким-то начальником аэропорта...

А Митенька, уходя в горы, чтобы увидеть их в последний раз, был поражен одним открытием. Очень давно, когда он еще не предполагал, что будет вспоминать об этом, профессор говорил: все это случится, и он вспомнит не о матери, отце, братьях, сестрах, родственниках, друзьях, врагах - он вспомнит о нем, о профессоре.

И когда он увидел ее среди сосен, профессор коснулся увядшей розы в его спутанных волосах. "Профессор..." - прошептал Митенька. Но ничего не было. Только на красном камне сидела крошечная женщина, купаясь в своих русалочьих волосах.

Одинокое прекрасное облако замерло над самой вершиной. Оттуда по просеке вниз сбегали столбы подъемника и останавливались у его огромного мускулистого тела. Он лежал на деревянном настиле. Он ждал когда лифт начнет работать и смотрел на облако. Оно казалось пригвожденным к небу самым верхним столбом - одинокое прекрасное облако.

Между его зрачками и облаком появилось лицо в водопаде белых волос - и облако исчезло. "Как они похожи", - подумал он.

Он поднял ее на руки и понес, как великан над водной гладью. Море плескалось у его щиколоток. "Я замужем", - ощутил он на своей щеке. Великан опустил руки, и она почти упала.

Хорошо, что лужа была неширокой.

- Что с тобой, Митенька? - ее лицо сверкнуло серебряной монеткой в ночи.

- Ничего, совсем ничего... Просто мы уже на земле, Книрпс.

А час назад музыка поворачивала это лицо, от розовой мочки, вросшей в латунь, и дальше - весь чистый профиль, украденный с римской монеты; устье глаза, расширяющегося как озеро; пот на переносице; соскальзывающая тушь; высохшая помада на подбородке; агония "Сатисфэйшн"... И снова, как капля крови на пуху, мочка; метание зрачка в ресницах, как в силке...

- Господи, что это со мной?

Одинокое прекрасное белое облако корчилося в пустом небе, и от

него тянулась сверкающая на солнце нить к нему, к великану. Он потянул трос... Облако менялось на глазах. И сейчас оно стало похоже...

"Белый кит, пронзенный гарпуном, - подумал он. - Тот самый Моби Дик..." И облако коснулось его белыми, тающими волосами; засыпало, заворожило, вознесло...

- Митенька!

Они плыли над склонами. Книрпс - впереди, он - сзади, повторяя все ее движения. Туман надвигался справа.

"Ужасно холодно, великан! Согрей меня".

"О, если бы ты знал, как я люблю его. О, если бы ты знал, как нам бывает хорошо и уютно в маленькой квартирке недалеко от Александр-платц. О, если бы ты знал... вечером, когда мы опускаем шторы, когда он снимает очки и смотрит на меня совершенно другими глазами, маленький, забавный, прирученный дикарь, мой Макс..."

"Не повторяй меня, великан. Я замерзаю!"

Как роса на цветы, оседал на их плечи туман. Но где-то над ними, над облаками было солнце, и его слабое тепло проливалось сквозь разрывы и трещины. Они неслись к нему. Вокруг ее волос, плещущихся в тумане, иногда появлялось розовое свечение, и он вспоминал радужный нимб вокруг пропеллеров, перемальвающих облака.

- О, Митенька!

...И эти губы на губах... "Я совершаю преступление..." И тяжкий отдых на щеке. "Мы никогда не будем вместе, великан!" Но вдруг, но если, может быть, но вдруг - диффузия сердец... "Как рассказать тебе любовь на Балатоне, как рассказать тебе его спасительную тень на берегах Африки, как рассказать тебе замыкание его рук у корней волос..." И эти губы на губах. "О, если бы ты был такой, как все, было бы легче". И эти слезы, как капель в зарю. "Макс, не прощай... Я... но эти губы, как берега реки". Анна... "Но эти ладони, на которых я могу загорать..." Мария... "Но эти глаза, из которых можно вычерпывать нежность и раздавать, как индугенции". Анна-Мария... "Но эти плечи, стертые в кровь под тяжестью любви..." Анна... "Но эта любовь, которая убьет меня..." Мария... "Нет сил моих..." Анна-Мария...

Солнца еще не было видно, но их уже обдавало теплыми волнами, как от калорифера, поставленного над головой. Как будто начинался рассвет. Светлели белые камни далеко внизу, цветы запутавшиеся в корнях, изъеденные хлопья снега на склонах, горы в облаках...

"Я задыхаюсь от жары, великан!"

"Мы велики, Книрпс! Мы велики до такой степени, что научились выстраивать невидимые стены между всем, что есть на земле, даже между тобой и мной".

- О, Митенька!

Их вынесло в небо. Просто небо и ничего больше. Только одинокое

прекрасное белое облако, как узелок на память...

И он снова увидел его. А эта маленькая женщина покоилась на его громадной, выжженной, как пустыня, груди. И только когда она вздрагивала, ему казалось, что это бьется его сердце.

Он осторожно переложил ее на плечо и стал медленно подниматься к облаку, придерживаясь за трос. А снизу крошечные люди смотрели с тревогой на раздавленные его ногами валуны, осколки которых струились по склону каменистыми ручьями. Но когда он остановился передохнуть, все заметили, как на его бронзовом плече сверкнуло что-то белое, похожее на снежинку.

"О, если бы ты, великан, был на его месте, то завтра ты бы узнал, как я умею любить. И ты бы ощутил мои прохладные ладони, остужающие плечи; как можно дышать моими волосами, задыхаться, плакать, смеяться... Ах, это было бы завтра".

Все труднее становилось ему подниматься. Что-то сильно давило на плечи, прижимало к земле. Пот заливал глаза, скатывался и казалось, что он рыдает над оставшейся внизу долиной: там все было в дожде. А она кричала, танцуя на его плече.

"...Я одела бы тебя в замшу, мой добрый великан. Она лежит в моих семи чемоданах. А еще... Ах, если б ты знал... Ты бы получил пятнадцать бутылок ракии и тринадцать маленьких бутылочек с "Экстрой", и бутылку "Чинзано", которую мне подарили; 9 комплектов марок, 33 открытки, четыре сервиза из керамики, восемьдесят семь моих фотографий..."

Она перебегала по плечам, как по коричневым холмам, легкая рождественская свеча, светлячок...

Он рухнул на колени, ушедшие сразу в землю. "Но как могут слабые нести всю жизнь эту ношу, которая мне не под силу..." - шептал он. И от этого шепота начал рваться трос.

"12 фужеров, 12 рюмок, 13 флаконов розового масла... О, мой великан! Ты бы получил всю меня!"

И солнце стало черной печатью на синем конверте. В воздух взлетали огромные камни, вывороченные с корнем сосны, цветы, земля, обрывки троса... И между всем этим метались его сгорающие слова:

"О, маленькая женщина, для чего ты уничтожаешь этот горячечный, угрюмый, проклятый, безумный, отчаянный, растерзанный, невыносимый, окаянный... мой единственный, невероятный, обетованный, благословенный, озаренный, нетронутый, солнечный, мой необратимый мир!"

Она поднялась на цыпочки, и ее унесло в ураган.

"Книрпс! - закричал великан, протягивая руки. - Любовь моя!"

- Митенька! И мы безумствовали на троянских коврах!

И стало небо как небо. Но одинокое прекрасное облако пропало. А в его окаменевших ладонях трепетало ее одинокое, прекрасное до отвержения, лицо.

...Где-то на заре своей юности, когда тема его книги еще только зарождалась в сердце, а не в голове, профессор искал свою комбинацию. Скольких комбинаций стоила эта книга! Хотя эта тема уже для следующей... Простите, чего "следующей"? Книги? Нет, нет. Оставим это. Для нее нужна еще одна жизнь. А что в чашечке? Пусто. Только дальняя дорога. Нет, это не та комбинация. Он живет в пятом корпусе, в двух шагах от "Феи", и домой можно идти, не одевая плащ даже в ноябре. А, может быть, его самая удачная комбинация - это он и его книга? Но пора, "Фея" закрывается...

И тут профессор увидел Митеньку с увядшей розой в спутанных волосах. Он поднимался на третий этаж, к нему. И, увидав его фиалковые глаза, профессор вдруг пожалел, что сюда, на веранду, есть только вход и нет выхода...

- Анна... - сказал он. - Анна-Мария.

- Макс, дорогой...

Ее голова лежала на его плече, и глаза видели аккуратно постриженный затылок, ослепительный воротничок рубашки, темную полосу кожи и длинные пальцы.

- Пойдем же, Анна.

Он провел ее через специальную комнату, куда пускали только с дипломатическими удостоверениями. Они вышли в зал, а за ними вереница носильщиков везла тележки с чемоданами, баулами, пакетами, сумками. Она пошла впереди, а он остановившимся глазами следил за маленькой, словно бы выточенной из янтаря фигуркой с плавающими в воздухе волосами. Она становилась все меньше и меньше, и только далеко-далеко от него она замерла и помахала ему рукой...

А Митенька тряс за грудки профессора на веранде кафе "Фея". Профессор ничего не чувствовал, кроме того, что ему становится все легче и легче, и ему казалось, что его просеивают сквозь сито...

- Макс, дорогой, я заказала тебе коньяк.

- Но почему здесь, на аэродроме?

- Макс...

- Но я не притрагивался с тех пор...

- А теперь мы вместе, и уже не опасно...

мимо них везли ее багаж.

- Это все наше, - шепнула она, - а вон там, видишь, только твое.

Он почувствовал, как что-то стало давить на плечи. Стало трудно дышать, но он вдруг понял, что именно этого ему не хватало, чтобы чувствовать себя человеком. Он рассмеялся:

- Прозит, майне либе...

Она приблизилась к его лицу и... увидела тоненькую женщину, танцующую на плечах великана, упавшего на колени...

...А Митенька продолжал вытряхивать душу из профессора, даже не задумываясь о том, что профессор хочет сказать ему:

"Я опоздал, Митенька. Я уступил тебе свою комбинацию. Но даже для тебя оказалось рано. Никто не виноват, что мы обречены на любовь. Но в моей книге (господи, как ты трясешь меня!), в моей книге предусмотрено и это..."

"Ведь вы сами сказали: "Когда-нибудь в среду". Вы говорили это у шершавых колонн среди шиповника; "когда-нибудь в среду", - вы говорили в парке, наблюдая красную луну; "когда-нибудь в среду", - вы шептали это в одиночестве, не оставив ни телефона, ни адреса, ни клятв, ни надежд. "Когда-нибудь в среду..." - но сегодня... она вышла из самолета и сидит у стойки, а ты вошел в кафе, и вы договорились, что вот-вот, сейчас... Митенька, ты опоздаешь, а вы же..."

И душа профессора отлетела.

Они сдвинули бокалы. Зазвонили хрустальные колокола; носильщики остановились и сняли форменные фуражки; пассажиры замерли; таможенники оставили свои жертвы... Макс поднялся и наклонил голову. Она стояла и видела великана, который шептал: "О, маленькая женщина..." А чудный звон наполнял зал ожидания, уносился вверх, рассыпался над городом, над землей...

И он коснулся Митеньки. В его руках ничего уже не было. И в нем возникла пустота; она росла, заполняла его; он уже не мог ее сдержать, она разрывала его. "Книрис, любовь моя..." - задохнулось в нем...

И Митенька с увядшей розой в спутанных волосах схватил бокал и бросился к сидящим на веранде.

И тихий, мерцающий звон помчался вслед душе профессора, который оставил их обреченными на любовь.

* * *

Игорь КЛЕХ

КОЕ-ЧТО ОБ ИСТОРИЯХ

"Истории" разлюбили нас и отвернулись, как женщины.

Это справедливо, затем, что и мы их не любили, не доверяя их познаниям о себе и мире. У каждой из них была своя анатомия, но почему так однообразны были их души?!

В аду, куда я несомненно попаду, даже если ада нет - я все равно туда попаду! - мне с порога закапают глаза атропином и, выдерживая в режиме жуткого похмелья, посадят читать навечно нескончаемый реалистический роман, какой-то сценарий телесериала о каких-то чешских врачах, - и все силы ада в поте лица будут трудиться над новыми главами, чтобы чтение мое никогда не иссякло.

Боже, как страшно! Как тошно.

ИСТОРИЯ МАРКА ЧАПМЭНА, ИЛИ О КЕПЛЕРОВСКИХ ТРАЕКТОРИЯХ КНИГ

Книги - суть небесные тела. Их рукотворность и наличие номинального автора - ст.инженера планеты - не мешает влиять им на судьбы людей и даже народов.

"Кэтчер во ржи" Сэлинджера дал американцам битников со всеми далеко идущими последствиями. Но уже следующее поколение читателей взрастило Чапмэна - убийцу Леннона.

Толстый мальчик. Во времена Вудстока - воспитатель в детском лагере; некоторые - не принципиальные - трудности с девушками (с книгой "Над пропастью во ржи" не расстается). Труднообъяснимый кризис.

Женитьба. Живет в Гонолулу. Самый высокий жизненный стандарт в США. Однажды, на пустынном пляже пытается отравиться в собственной машине, надев шланг на выхлопную трубу и запустив другой конец в салон. Заметили - откачали. Американские врачи тактичны, в душу не лезут (да и что там делать врачу?). Выписавшись и прожив три дня с женой, - квартира в высотке с видом на океан - Марк неожиданно берет расчет на работе и исчезает. Следы его вновь обнаруживаются на континенте - где-то в Солт-Лейк-Сити он звонит непонятно зачем девушке, с которой недолго встречался в юности; ничего особо запоминающегося тогда у них не было. Она тронута, рада и несколько удивлена, что он помнит, но сегодня занята. Он плачет в трубку. Трубку вешает он. Он не истерик. Все запомнили его спокойным, контактным, положительным. Иногда трудности с девушками, и тогда - нервы. Да, - книга Сэлинджера.

Месяц он живет в Нью-Йорке. Однажды в книжном магазине наткнется

на иллюстрированный альбом о Ленноне. До этого Джон Леннон никогда его особо не занимал. Рокмэнгом не был никогда.

Покупает книгу. С той минуты, как Чапмен снял книгу с полки - навивка взята, он на леске, она водит его и натягивается с каждым днем. Еще не понимая ничего из этого, он наводит справки о мистере Ленноне.

Узнав адрес, приходит несколько раз к отелю "Дакота", где тот живет. Леннона не видно. Чапмен узнает, что он уехал на месяц в Лас-Вегас.

Вяло взяв след, Чапмен следует за Ленноном в Лас-Вегас, надеясь встретить его. Удача не сопутствует ему. Прослonyaвшись две недели по заведениям Лас-Вегаса, он возвращается в Нью-Йорк. Только тогда он покупает пистолет 38-го калибра. Пристреливает его где-то на пустыре.

Может быть, впервые в жизни у него появляется цель.

Леннон тем временем впервые после многолетнего перерыва дает несколько интервью. Он намеревается вернуться в мир шоу-бизнеса, готовит новый диск, у него появились новые идеи, он вновь связывается со своими менеджерами и агентами, их усилиями раскручивается маховик рекламы.

Леннон бодр, молод, уверен в себе, как прежде, - вернувшийся из опалы полководец набирает армию, ликующий холодок в животе, умеренный гипоманиакальный фон - гарант скорой и успешной кампании, заканчивающейся задолго до зимних холодов.

Но - поздно. Фактор "икс".

Три последних дня Чапмена в Нью-Йорке почти дословно воспроизводят три дня в Нью-Йорке Холдена Колфилда (книжка под мышкой!). Гостиница в том же районе. Одиночество. Проститутка, приведенная в номер и, после короткого разговора, отпущенная с оплатой.

На третий день он выходит к подъезду Леннона. Утром берет у него автограф. Вечером появляется вновь. Никто и ничто уже ничему не может помешать. Через полчаса ожидания он видит возвращающихся домой Леннона с Йоко Оно, ничего не подозревающих и не чувствующих. Они начинают уходить в арку дома...

Это уже лишнее, но с восьми метров Чапмен, чтобы удостовериться, кликает: "Мистер Леннон?" - "Да", - дружелюбно отвечает Леннон.

Произведя пять выстрелов - опустившись на одно колено и держа пистолет двумя руками - Чапмен поднимается и спокойно дожидается полиции, держа в руках уже не пистолет, а любимую книгу.

Впервые за долгие месяцы его оставляет опустошающее, жуткое, непреодолимое беспокойство - состояние не могущего опохмелиться алкоголика в запое (в России) - он испытывает протрацию, теплота удовлетворения растекается по его членам. С момента ареста и впредь он абсолютно нормален, чем приводит в бешенство репортеров, следователей, судей - всех, силящихся его понять.

Но – никакой психологии и интерпретации! Я не потерплю этого. Все было так, как я рассказал.

История на этом не заканчивается.

В толпе, пришедшей прощаться с Ленноном, затерялся молодой человек – его можно было найти на фотографиях. Через два с небольшим месяца он будет стрелять в Рейгана. Под мышкой у него... вы поняли?!

В ФБР создано спецподразделение, занимающееся предотвращением убийств знаменитостей. Скоординированы усилия многих институтов, психологической экспертизы, составлены программы – вычислено две тысячи потенциальных убийц "звезд", все они находятся под тайным надзором ФБР. Эти люди ничего не совершили, они работают, меняют работу, куда-то внезапно уезжают, чем-то томятся, что-то читают, но жизнь их систематически просвечивается насквозь заинтересованными службами. Хотя, возможно, на большинство из них так никогда и не сойдет озарение, как на Марка Чапмена.

Но меня больше занимает, как, когда и почему книга типа "Над пропастью во ржи" становится задушевым чтением убийц?

И даже не так...

HE: повинны ли в смерти Леннона корыстные фабриканты оружия, как утверждает Фрэнк Конолли?

ИЛИ: действительно ли, если верить советскому предисловию, "молодежь второй половины 70-х придерживается взглядов семнадцатилетнего Ходдена, внимательно и критически всматриваясь в реальную действительность, чтобы добиться утверждения гуманистических идеалов"?

A: как получается, что, в отличие от планет, траектории и оси вращения книг смещаются, как у подкрученных бильярдных шаров?

ОТРЫВОК ИЗ ПИСЬМА ДРУГУ

"...Есть еще один предмет, который я хотел бы затронуть – это одна книга, точнее, сказка, которая частично оформила и помогла выстоять в 70-е, частично развратила и что-то безнадежно исказила в ментальности нашего поколения. Сейчас для меня очевиднее второе.

Это "М. и М." Булгакова – в чем-то глубоко мещанская книга.

Не касаясь опошления Евангелия (что тебя, возможно, задевает больше, чем меня), я нахожу в ней целый ряд убогих стереотипов, внедрившихся в сознание моих современников – в ней второе дыхание получает идея гения и толпы (кто из нас не заражен склонностью к такого рода расправе: или гений – или говно, если вот этот вот "гений" – то вот это вот, все остальное, "говно". Это стало манией провинций. Знаешь,

где еще больше гениев, чем в Москве? – в Ивано-Франковске, уверяю!)

Здесь выродившийся эзотерический миф о "Мастере" скрещивается со сталинистской идеей "спеца", "кадра", и множится на авторитаризм эпохи, в которую роман писался – и вот все это, не иначе как злой волей, всплывает в конце 60-х – 70-е.

Ныне уж и Вениамин Смехов (Атос с Таганки – тьфу-бишь, Воланд!) – свою брошюрку о театральнх дрязгах выпускает под титулом "Мастер со скрипкой".

Есть занятная история, рассказанная Надеждой в воспоминаниях о Мандельштаме – как тот в Воронеже вознамерился воспеть Сталина. Разложил бумагу, сел за стол – чего никогда не делал! – рядом положил папирсы; тишина, жена на цыпочках – три дня морщил лоб, курил папиросу за папиросой, честно тужился, но, в конце концов, встал сконфуженный, ни с чем: "Не складывается. Вот Асеев враз бы сочинил, он – мастер".

Сам Мандельштам, как резонно замечает позднейшая критика, Мандельпромом не был. Переделать роман в пьесу или киносценарий не взялся бы. Не смог. Не умел.

Трудно судить за это саму книгу – она всего лишь очень неплохо написанная книга для подростков, будящая не столько силу воображения, сколько фантазию.

Но все дело в том, что книга неотделима от чтения, от наших способностей. И если пункт "мастер" – это всего лишь профанация, то экспансия магии и мифологизации из области эстетической на социальную – к чему читатель был явно предрасположен, и чему сама книга не могла воспрепятствовать – это вещь, на мой взгляд, крайне реакционная (прости за слог), не открывающая перед нами миры, а закрывающая, собственно, миф о мщении – аналог "Графа Монте-Кристо". Плюс – добавь убогий "дешифровальческий" подход к литературе вообще, инспирированный этой книгой. Достаточно.

В книге есть и другое, но я намеренно утрирую и педалирую исключительно ее дурные стороны, потому что именно они почему-то вылезли из-за двух ее "М" и прочно занозились в современном "литературном" сознании – и держат его, и не пускают, как мертвец суевера. Хотя сила его уже, конечно, не та, что еще несколько лет назад. Жареный петух пропел второй раз..."

Теперь, когда Булгакова лягает уже всякий осел, мне стыдно перечитывать это, хотя не стыдно в этом признаться. Читатель ведь тоже, бедный, кувыркается, как вошь на гребешке.

Речь идет о версии единственно верной версии – этой каиновой печати времени на ничтожестве писательской гордыни. Примерно как: жизнь с точки зрения башмака с ноги казненного Дантона, написанная им для сапогов. Но Дантону ведь – блин! – не ногу рубили.

КОЕ-ЧТО ОБ АНТИПОДАХ

На ряд разительных совпадений в жизни и смерти По и Гоголя, ровесников и антиподов (в географическом смысле) обратил внимание Зоценко. Сведение к одному было в духе эпохи. Зоценко при этом преследовал свой шкурный интерес, он писал:

"Я изучил биографию Гоголя и вижу, на чем свихнулся Гоголь, прочитал много медицинских книг и понимаю, как мне поступать, чтобы сделаться автором жизнерадостной положительной книги". Запомним это пока.

Психоаналитикам, действительно, есть где разгуляться в этих двух биографиях - здесь фобии, торможения, вытеснения, беспредметное чувство вины; оба мнительны и чувствительны, но не чувственны, оба - пугатели, т.е. мазохисты, оба испытывают жгучий интерес к потустороннему и влечение к смерти на грани некрофилии (преследующий того и другого образ смерти - прекрасной молодой женщины), самое страшное для обоих - быть похороненными заживо в летаргическом сне (это тема трех рассказов Э.По и "Завещания" Николая Гоголя). С обоими что-то происходило, оба не находили себе места в "положительной" жизни, безуспешно пускались в бега от себя, и скоротечно сгнули, задав врачам задачку не по их зубам.

В области общественной, кстати, оба были консерваторами, на грани реакции.

Есть определенные корреляции и в их творчестве - от мотивов страшной мести, двойничества-оборотничества, папахивающего серой карнавала в "жутких" историях, от приглушенного тематического параллелизма "Человека толпы" и "Невского проспекта", "Черта на колокольне" и "Ревизора", "Без дыхания" и "Носа", до ясновидческой материализации метафор (у них был тайный третий в Европе - алкоголик Гофман).

Виргинский "украинец" По стал стопроцентным северянином, "бостонцем".

Сто лет спустя Бабель горевал, что столичный Петербург победил в Гоголе Полтаву, налитая здоровьем молодка окоченела во сне, в объятьях полуночного трупa. Ужас Набокова обратен: это Рудой Панько, никогда не предавший Полтавы и всю свою долгую жизнь продолжающий строчить этнографические повести с малороссийским элементом (таков, хоть это и жестоко, Бруно Шульц).

Как бы то ни было, отбившийся гусь Гоголь совершил отчаянный и безнадежный перелет по разомкнутой дуге: "Полтава-Петербург-Рим-Иерусалим-Москва", и в конце сделал все для того, чтобы быть похороненным заживо, вопреки и согласно собственному завещанию. Он дал задушить себя Панночке - рациональной Церкви, но перед смертью - как русские цари сыновей, как Бульба Андрия - он сжег II том "Мертвых душ", и

чист перед людьми. По был мужественнее и авантюрнее в жизни, он жил в более предприимчивой стране, но в творчестве смелее был Гоголь, на- смерть перепугавшийся только после I тома "Мертвых душ".

Что это за принцип, измучивший двух гениев и поспешно сведший их в могилу? Или, наоборот, не выдержавших вызова собственного даймона и бежавших, в ужасе и болезнях, в смерть? Они повели себя так, будто не они слабые носители даймона, а он, их гений, является их частью. Они вступили в борьбу, и тончайший баланс видимого и невидимого миров был нарушен в них. Оказалось, что это было в них главным, если не единственным, и оба оказались "без дыхания".

По спасался алкоголизмом, сжигая все поступающую энергию, пока она не сожгла его, и тогда, как сказано - он хряснулся, как лошадь, крупом о тротуар и скончался в судорогах, не приходя в сознание.

У Гоголя же наступила регрессия, что известно послушникам всех исповеданий; сокрушив свою психическую структуру, вместо мира горнего он очутился в плену у мира исподнего - в плену бесовских искушений, собственного незрелого рационализма, капризного и изворотливого инфантилизма.

Вероятно, при определенном уровне дара человек уже не принадлежит себе, и если, уже окликнутый по имени, сопротивляется посылаемому ему вызову (а человек всегда сопротивляется) - то тогда на него насылаются болезни, отрывающие его от людей, и если он продолжает упорствовать - таковой испепеляется.

И что бы уклоняющийся ни делал: воздерживался или был полово- азартен, любил социализм, как Зоценко - младший и самый падший в этом ряду, практиковал религию или алкоголизм, уповал на мощный логизированный интеллект или истово искал рецептов спасения человечества, что бы ни обещал **вместо**, и куда бы ни бегал, уклоняющийся либо сойдет на псы, если он не чересчур талантлив, и талантом его можно пренебречь, либо будет уничтожен. Закон этот не знает исключений - от "ухода" споткнувшегося о собственный ум графа Толстого, до последней смерти обретшего свободу снимать Андрея Тарковского.

Это "молодая" литература может истрачивать силы в поисках того волшебного метода, изыскания или изобретения такого средства, чтоб писать много и безболезненно - но читатель должен быть в курсе, что литература, уклоняющаяся от взглядывания в перспективу полного "капещца", перестает существовать. Так же, как и осмелившаяся заглянуть в нее без помощи кривого зеркала искусства. Так зачах Чехов, зачерпнувший летеиской воды в своей сумасбродной поездке на Сахалин, и уже не смогший ни позабыть о том глотке, ни победить расплзающийся от него по всему телу холод - пока не выхаркал вместе с ним свои легкие.

По стали переводить сразу, и сегодня он переведен, наверное, даже в Индонезии. Понятен (более-менее) Достоевский, писавший о По.

О Гоголе стали догадываться после Кафки. Но и спустя полтора года лет, кто из англосаксов, не струхнув, заглянет в глаза Вию-Гоголю?

Кто из его соотечественников посмеется с ним над кошкой, танцующей на горячей крыше?

КОЕ-ЧТО ОБ ОСТРОВИТЯНАХ

Говорят, что англичане потихоньку отравили Наполеона, как грызуна, мышьяком. И оттого у него зубы расшатались и шерстка повылезала. И еще что-то громоздкое и ненужное, с двойниками. Ерунда все это.

Просто Наполеон ненавидел острова. Его пьянили материковые пространства. Уехав со своей Корсики, как всякий порядочный человек - он сделался императором. Но настоящего вкуса к империи у него все же не было. Он шмыгал, как мальчишка на велосипеде, по Европам и Африкам, позволяя завоеванным странам жить затем по собственному усмотрению. Ну, чтоб с ним считались, конечно. Весь его гипертрофированный экспансионизм зиждился на ненависти к части суши, ограниченной морем. И Англию он ненавидел не как империю, в первую очередь, а как наглый остров. И Россию он пошел отлупить, как медведя, показав свою нечеловеческую силу, чтоб они открыли кингстоны и затонули вместе со своим островом. Это и было его ошибкой. Островитянин, со своими умеренными представлениями, оказался в открытом океане суши - и он срубился. Это был не его вес, не его масштаб. Так он вновь оказался на острове, как не справившийся с задачей.

- Все, что угодно, только не остров! - воскликнул Наполеон, и на сто дней, в одиночку, вернул себе Францию. Но на большее он был уже неспособен. Россия нанесла ему такую психическую травму, после которой он раз и навсегда потерял былую смелость в прыжках и уверенность в себе. Он был мужественный человек и попробовал вести себя так, будто ничего не случилось, и начать все сначала. И вновь оказался на острове.

Здесь уже был дьявольский расчет англичан. Они сообразили, что это для Наполеона страшнее смерти - вернуться в исходное положение, оказаться ограниченным со всех сторон водой до горизонта, затолканным назад, в материнскую утробу острова. От этого у него повывлазили все волосы - от тихого ужаса. Он оказался замкнут в собственном кошмаре.

* * *

Бывает, пьешь-пьешь-пьешь, и вот решаешь, наконец, что хватит, и едешь домой. Дожидаешься в мерзких сумерках первого троллейбуса. Носит тебя по остановке, как непринаитованную бочку по палубе в качку. Наконец, он приходит. Садись. Тепло. Закрываешь глаза. Будят - аэропорт. Ага, проехал. Не выходишь, едешь назад. Закрываешь глаза. Открываешь -

Окружная. Выходишь, переходишь на другую сторону. Теперь троллейбусы идут чаще. Садись. Закрываешь глаза, открываешь глаза - аэропорт. Едешь дальше. Открываешь глаза - опять Окружная! Переходишь на другую сторону. Опять - аэропорт!

И так часами носит тебя мимо твоей остановки. Зажигаются фонари. Серая невыспанная сволочь стекается к остановкам, прохаркиваясь и откашливаясь, звеня перепонками в носу, едет на работу, а ты погибаешь от отвращения в этом все переполняющемся транспорте, к которому, неизвестно зачем, ты прикован, как Сизиф.

Этот текст очень короткий. Автор с трудом преодолевает его тенденцию сократиться до одной фразы, и далее схлопнуться в точку.

КАЗНЬ ЧЕТЫ ЧАУШЕСКУ

Педсовет под дулами видеокамер затягивался.

Директор с директриссой отказывались встать, отвечать на вопросы ученического совета, даже снять шубы. Они сидели за столиком в углу чего-то похожего на классную комнату. Чаушеску огрызался. В нем была порода. Без соучастия обвиняемых процесс разваливался. Высокопарные фразы суда, не встречая ни отклика, ни отпора противной стороны, повисали под низким потолком. Несколько кусачих обвинителей попробовали быть изобретательными. Один из них просил Чаушеску не упрямиться и вести себя соответственно, хотя бы из уважения к хлопотам устроителей процесса, к доставленному из самого Бухареста, с таким трудом, на вертолетах, составу суда. Защитник прошелся по всем пунктам обвинения и по всем ним признал Чаушеску виновным - он попросил суд вынести справедливый приговор.

Обвиняемого еще раз спросили о счете в швейцарском банке. Чаушеску повторил, что это клевета, и продолжал твердить, как попугай, что суд над собой не признает, как незаконный и не конституционный, состав суда - мятежники и иностранные агенты, по конституции он готов отвечать лишь перед всенародным собранием и рабочим классом. Елена сказала: "Николае, мы не встанем перед ними". меховая шапка на ней съехала чуть набок.

Видя безнадежность дела, суд встал и приговорил сидящих к расстрелу - приговор привести в исполнение на месте, немедленно.

Все это время чета находилась в легком эйфорическом шоке, как после автотранспортного происшествия, веря и не веря еще в произошедшее. Глаза их лихорадочно взблескивали, на щеках проступили пятна румянца.

Елена проснулась, когда к ним подступили огромные великаны-десантники в ватниках-хаки, с автоматами через плечо. Супруги Чаушеску

едва достигали им по грудь, они были немногим выше их пояса. Вряд ли это были люди. Десантники, как роботы, выкрутили им птицеобразные их кости за спину и там связали. Елена пробовала кричать: "Вы не имеете права! Позор! Мы имеем право умереть, как хотим! Дети, что вы делаете?!" Последнее - охранникам. Но крики, также не получая никакого отклика у окружающих, звучали неубедительно и неуверенно.

их подтолкнули к двери.

Далее идет режиссура и постановочные эффекты.

Революция аргументировала тем, что оператор (а их было несколько!) проморгал команду "Пли!" - все произошло очень быстро.

Когда пиротехнический дым (революция говорит: пыль, поднятая в каменистом дворике автоматными очередями) понемногу рассеялся, посреди школьного двора проступили очертания двух учительских тел.

Елена лежала в пыли на боку, подтянув ноги, в чуть съехавшей шубе, как курица с перерезанным горлом - откуда-то из-под головы на середину двора тянулся ручеек крови с довольно значительной лужей на конце. Ран на ней видно не было.

Туда подбежал врач и, опустившись на колени, щупал пульс, поднимал веко, жестом подзывая оператора, - и минуты две вынуждал его снимать мертвое тело, чтобы не возникло ни у кого сомнения, что Елена Чауешку мертва.

Затем врач с оператором перебрались к супругу.

Поза его поражала. Он упал на колени со связанными за спиной руками, откинувшись всем телом назад, головой доставая пяток. Было что-то балетное в этой позе, возможно, что-то из набросков Касьяна Голейзовского - эстетика сломленной страсти. Если бы не топорщилось на груди застегнутое на все пуговицы тяжелое зимнее пальто, все пробитое пулями. Но из изрешеченной груди не вытекло почему-то ни капли крови.

Врач также пощупал пульс у трупа, а затем, встряхнув всем его телом, поднял за волосы голову Чауешку и, притянув за рукав оператора, тыкнул ею прямо в видеокамеру, и долго ворочал ею, задирая и поворачивая в профиль, фас, перед объективом, к ужасу и восторгу будущих телезрителей.

Трудно сказать, отсутствие крови на пальто и вокруг Чауешку - было ли просчетом "инсценизаторов"? Истории известны уже случаи, когда, к примеру, на грани провала был строитель коммунизма для кроликов в Койоакане, - сразу после того, как Меркадер погрузил свой ледоруб на 7 см. в его мозг - бросившийся бегать по комнате с ледорубом в голове, как с косичкой, и душить убийцу, так что полузадушенного Меркадера еле у него отняли. Затем стал рассказывать близким в подробностях, как все произошло, отказывался ехать в больницу, и уже в больнице начал диктовать секретарше набросок новой статьи.

Неизвестно, кто из приближенных тогда, уловив минутку, склонился

к его уху, чтоб шепнуть: "Нехорошо, Лев Давыдович, — люди после такого умирают". И, мучаясь, и со страшной неохотой, через два-три дня Троцкий все же нашел в себе силы соблюсти приличия.

Но если кровь все же была, и видимое ее отсутствие следует оставить на совести бездарных постановщиков, не сумевших обойтись без дублей, а самый великий охотник всех времен и народов, посвятивший свое оружие 100 тысячам диких зверей, — если он был все же человеком, то мы должны постараться подобрать к нему другой ключ. И мне кажется, что ключ этот лежит на дне следующей истории...

"О плаче Чаушеску"

Уже много часов Чаушеску с женой и телохранителем, захватив легковой автомобиль с водителем, играли в прятки со всей Румынией. Они устали и проголодались, но Елена была непреклонна. Ее план был прост: заехать в лес и там спрятаться. Николае настаивал на том, что их спасут рабочие, следует направиться в ближайший промышленный город и укрыться на любом заводе, рабочие их защитят. Сделали то, на чем настаивал Николае.

Въехав в ближайший городок, они подъехали к проходной какого-то завода. У ворот стояла толпа. Через несколько минут она сориентировалась, что в машине беглые Чаушеску, и закидала издали их автомобиль камнями.

Водитель под дулом телохранителя нажал на газ.

На заднем сидении плакал Чаушеску. "Я же им все дал, — жаловался он Елене. — После войны, ты же помнишь, это была голожопая страна. Зачем они так?.." Уставшая Елена молча смотрела в окно.

Плач Чаушеску, может быть, как ничто другое, говорит о том, чего не хотят знать люди — о природе человека.

* * *

Главный редактор
А.МИХАЙЛОВ

Художественный редактор
И.БЕЛОГОРЛОВ

Технический редактор
Т.МЕЛИХОВА

Подписано к печати 15.03.91.

Формат 60 x 90 / 16.

Бумага офсетная.

Печ. л. 6.

Уч. изд. л. 7.

Тираж 50 000 экз.

Цена 3 руб.

Отпечатано с готовых диапозитивов
